

ТАЙНА СОЖЖЁННЫХ ДНЕВНИКОВ ЛОРДА БАЙРОНА

— ○ —
психологическая новелла



ДОКТОР СОЙФЕР ПЁТР

18+

Петр Сойфер

**Тайна сожженных
дневников Байрона**

«Автор»

2026

Сойфер П.

Тайна сожженных дневников Байрона / П. Сойфер — «Автор»,
2026

1824 год, Лондон. Байрон умер в Миссолонги, оставив после себя миф — и четыре тетради дневников, где миф расходится с человеком. Друг, издатель и представители двух женщин, чьи имена он не должен был произносить вслух, собираются в конторе на Альбемарл-стрит, чтобы решить: сжечь рукопись или сохранить. Пока идёт спор, перед читателем проходит вся жизнь Байрона — от хромого мальчика, которому мать велела «быть опасным», до поэта, чьё имя гремело по всей Европе, до изгнанника, умирающего за чужую свободу. Рядом с ним неотступно идёт Тень — двойник, задающий вопросы, на которые он не решается ответить сам себе. Психологическая новелла о славе, стыде и цене мифа — и о том, кто в итоге решает, каким останется в истории человек, слишком живой, чтобы уместиться в один образ.

© Сойфер П., 2026

© Автор, 2026

Петр Сойфер

Тайна сожженных дневников Байрона

ТАЙНА СОЖЖЁННЫХ ДНЕВНИКОВ

ЛОРДА БАЙРОНА

Доктор Пётр Сойфер

новелла

От автора

Это художественное произведение. Джордж Гордон Байрон, Августа Ли, Аннабелла Милбэнк, Тереза Гвиччоли, Томас Мур, Джон Мюррей и другие персонажи основаны на реальных исторических личностях, а описанные здесь события — отъезд из Англии, брак и развод, жизнь в Италии, участие в греческом восстании, смерть в Миссолонги и уничтожение мемуаров Байрона в мае 1824 года в конторе Джона Мюррея — опираются на известные биографические факты.

Однако внутренние монологи, дневниковые записи, диалоги и образ Тени — психологического двойника Байрона — являются авторским вымыслом. Новелла не претендует на документальную точность и не должен восприниматься как биографический источник: это попытка художественно исследовать природу славы, стыда, зависимости и саморазрушения через призму одной из самых мифологизированных жизней XIX века.

Пролог

Начало XIX века умело хранить два лица одновременно: одно — для гостиных, где говорили о добродетели, порядке и семейном очаге; другое — для того, что происходило за закрытыми дверями тех же гостиных. Байрон не изобрёл этого раздвоения. Он лишь отказался в нём участвовать.

За двадцать лет — от хромого мальчика из обедневшего шотландского рода до самого знаменитого поэта Европы — он успел стать тем, кого невозможно удержать ни в одной роли дольше сезона. Сегодня нежный до слёз, назавтра — жестокий до отчуждения; месяц ярости мог смениться месяцем безграничного великодушия, а щедрость — холодным расчётом, будто внутри него по очереди выходили к свету несколько разных людей. Современники называли это гениальностью, порочностью, болезнью — смотря по тому, кто от него в этот момент пострадал или кого он в этот момент очаровал.

Он одевался так, что о нём писали статьи; держал в доме медведя, потому что устав Кембриджа запрещал собак; тратил состояние быстрее, чем зарабатывал славу, и говорил правду там, где принято было лгать из вежливости. Общество, требовавшее благопристойности на публике и снисходительно закрывавшее глаза на приватные грехи, он ставил в неловкое положение самим фактом того, что не делал разницы между этими двумя пространствами. Он не скрывал того, что считалось стыдным; он стыдился того, что принято было скрывать.

За это ему платили обожанием и изгнанием — часто одновременно.

Через месяц после его смерти в греческом Миссолонги четверо мужчин соберутся в лондонской конторе, чтобы решить судьбу дневников, которые он вёл почти всю жизнь. То, что произойдёт в этой комнате, станет последним актом давнего спора: имеет ли эпоха право отредактировать человека, которого сама не смогла вынести целиком.

Глава 1

Гостиная издателя

Лондон пах дождём и пылью угольных подвалов. Двадцать шестое апреля 1824 года — день, который должен был бы принадлежать весне, но вместо этого застрял в промозглой серости, словно сам город не решал, траур ли это или просто очередное недоразумение погоды. На Альбемарл-стрит, в доме номер пятьдесят, в гостиной второго этажа горел камин. Дрова трещали слишком громко для того времени года, и этот звук раздражал Джона Мюррея.

Он стоял у камина, спиной к комнате, хотя обычай требовал от хозяина иного расположения. Его ладони были сжаты за спиной, пальцы перебирали край жилета — привычка, казавшаяся ему незаметной, но уже замеченная Томасом Муром за прошедший час. Мюррей был издателем, а издатели, по определению Мура, — люди, привыкшие управлять видимостью. Когда они нервничают, они прячут руки.

— Вы хотите, чтобы я поверил, — сказал Мур, не поднимая глаз от стола, — что это вопрос торговой этики.

Мюррей не обернулся.

— Я хочу, чтобы вы поверили, что это вопрос последствий. Этика, мистер Мур, — роскошь для тех, кто не подписывал чеки за чужие долги.

На столе между ними лежали четыре тетради в коричневом переплёте, связанные лентой, цвет которой когда-то был бордовым, а теперь стал похож на высохшую кровь. Рядом — узелок писем, перстень с гербом, часы в серебряном футляре, несколько листов на тонкой бумаге с печатью консульства. Вещи мёртвого человека, доставленные из Миссолонги через Лейпциг, через Гамбург, через все порты, где груз проверяли на предмет чумы и революционных прокламаций. Они прибыли накануне вечером. Мюррей получил их лично от курьера и не открывал до утра.

Мур сидел в кресле, которое не предназначалось для человека его комплекции — оно было слишком низким, слишком мягким, с подлокотниками, обитыми выцветшим бархатом. Ирландец чувствовал себя в нём ребёнком, посаженным за стол взрослых, и ненавидел это ощущение. Он ненавидел больше, чем ненавидел Мюррея, больше, чем ненавидел собственную беспомощность. В кармане его камзола лежало завещание, текст которого он знал наизусть. «Моему другу Томасу Муру — мои дневники, с тем чтобы он распорядился ими по своему усмотрению». Усмотрение. Слово, которое казалось широким, как океан, и пустым, как чёрная комната.

— Вы открывали? — спросил Мур.

— Я просмотрел первые страницы, — Мюррей наконец обернулся. Его лицо было цвета восковой свечи, с тёмными пятнами под глазами. Он не спал. — Достаточно, чтобы понять, что это не литература, мистер Мур. Это исповедь. А исповеди, в отличие от поэм, не приносят дохода. Они приносят иски.

В комнате было ещё два человека. Один — молодой человек в чёрном сюртуке, с портфелем на коленях, — представлял интересы леди Байрон. Его звали Уиггинс, или, возможно, Уиггинс был его фамилией; Мур не запомнил, потому что тот сказал это слишком тихо, слишком быстро и слишком по-адвокатски. Второй — пожилой джентльмен с красным носом и дрожжащими руками, — прислан от имени леди Августы Ли, сестры покойного. Он не представился вовсе, сославшись на простуду, и с тех пор сидел у окна, стараясь не кашлять в сторону стола.

Мур протянул руку к тетрадям. Его пальцы коснулись переплёта. Кожа была шершавой, прошитой вручную, с кое-где торчащими нитками. Он узнал почерк. Это был тот самый почерк — наклонный, слишком быстрый, с буквами, которые словно спотыкались друг о друга в спешке за собственными мыслями. Байрон писал так, будто бумага могла исчезнуть под пером.

— Завещание даёт мне право, — сказал Мур медленно, — прочесть всё, прежде чем я приму решение.

— Завещание, — вмешался Уиггинс, — не отменяет законных интересов семьи.

— Законных интересов семьи, — Мур повернулся к нему, и в его голосе зазвучала та ирландская интонация, которую он обычно старательно глушил в присутствии англичан, — не существует отдельно от воли покойного. Он доверил мне эти тетради. Не вам. Не леди Байрон. Не Мюррею. Мне.

— И что же вы собираетесь с ними делать? — спросил Мюррей. — Печатать? Продавать по частям в «Морнинг Кроникл»? Или, может быть, устроить чтение в Друри-Лейн, с оркестром и декорациями?

Мур не ответил. Он развязал ленту. Тетради расступились, как рот, который долго держали на замке. Первый том был помечен цифрой «I» на корешке — не Байроновым почерком, а чужим, аккуратным, вероятно, слуги или секретаря в Равенне. Мур открыл его. Бумага пахла солью и чем-то сладковатым, чужеродным — может быть, оливковым маслом, может быть, просто запахом южных комнат, где бумага впитывала жару и пыль вместо лондонского тумана.

Первая страница была датирована 17 сентября 1816 года. Женева. Вилла Диодати.

«Начинаю сегодня, потому что вчера было поздно, а завтра будет ложью», — гласила первая строка.

Мур прочитал её про себя, затем вслух, негромко, так что слова едва долетели до Мюррея:

— «Начинаю сегодня, потому что вчера было поздно, а завтра будет ложью».

Уиггинс фыркнул. Представитель Августы откашлялся в платок.

— Поэтическая манера, — сказал Мюррей. — Он всегда начинал так. Вы помните «Чайльд-Гарольда»? «There is a pleasure in the pathless woods». Всё это — театр, мистер Мур. Театр для себя.

Мур листнул страницу. Почерк становился небрежнее, слова сближались, строки сползали вниз, как будто писавший ускорялся, убегая от собственного отражения в чернилах.

«Мюррей, должно быть, уже жалуется, что я не присылаю стихов. Скажу ему: стихи — это то, что я делаю, когда не могу дышать. А здесь, в этой комнате, дышать можно. Хотя бы потому, что дождь не даёт умереть от собственной сухости».

Мур поднял глаза. Мюррей смотрел на него с выражением человека, который только что увидел, как кто-то открывает его личное письмо.

— Он упоминает вас, — сказал Мур.

— Он упоминал меня всегда, когда нужны были деньги.

— Здесь он упоминает вас, чтобы сказать, что вы жалуетесь.

Мюррей подошёл к столу. Его тень упала на тетради, разделив страницу на светлую и тёмную половины.

— Мистер Мур, — его голос стал тише, почти интимнее, — позвольте мне объяснить вам, чем мы здесь занимаемся. Мы не читаем дневник умершего друга. Мы оцениваем боеприпасы. Каждая страница этой рукописи — это пуля. И она может лететь в любую сторону. В леди Байрон, которая, между прочим, живёт в Керкби-Мэллори и воспитывает его дочь. В леди Августу, у которой есть муж, дети и репутация, оберегаемая всю жизнь дольше, чем он берёт свою. В моё издательство, которое выпустило его книги, платило его долги и терпело его капризы десять лет. И, наконец, — в вас, мистер Мур. Потому что если вы выпустите эти тетради в свет, вы станете человеком, который продал труп друга за посмертную славу.

Мур закрыл тетрадь. Не резко, не со стуком — просто медленно, бережно, как будто закрывал глаза умершему.

— Он просил меня распорядиться, — сказал он. — Не вас. Не семью. Меня. И я не собираюсь принимать решение, не зная, что внутри.

— Тогда вы рискуете узнать слишком много, — сказал Уиггинс. — И оказаться неспособным забыть.

Мур посмотрел на него. Молодой адвокат был похож на студента, которому случайно доверили важное поручение — слишком гладкие виски, слишком новые перчатки, слишком много уверенности в том, что закон — это то же самое, что справедливость.

— Я уже знаю слишком много, — сказал Мур. — Я знал его. Это хуже, чем любая тетрадь.

Он встал. Кресло скрипнуло, облегчённо вздохнув. Мур подошёл к камину. Огонь был живым, но не слишком горячим — майский огонь, поддерживаемый скорее для вида, чем для тепла. На каминной полке стоял портрет Байрона в раме, сделанный ещё в 1813 году, когда тот был молод, знаменит и, по мнению большинства, безнадёжно порочен. На портрете он смотрел в сторону, как будто уже тогда знал, что прямой взгляд — роскошь, которую он не может себе позволить.

— Я забираю тетради, — сказал Мур.

— Вы не имеете права, — Уиггинс вскочил, портфель соскользнул ему на пол с глухим стуком.

— У меня есть завещание.

— У меня есть письмо леди Байрон, — Уиггинс вытащил из портфеля сложенный лист. — В котором она просит уничтожить все личные бумаги покойного ради благополучия его дочери. Ради Ады. Вы знаете, сколько ей? Восемь лет. Вы хотите, чтобы она выросла, читая о том, как её отец...

Он замолчал, не подобрав слова.

— Как её отец что? — спросил Мур.

Уиггинс покраснел. Мюррей отвернулся.

— Вы понимаете, о чём я, — сказал адвокат тихо.

Мур взял тетради в руки. Они были тяжелее, чем он ожидал. Не физически — бумага легка, — но каким-то другим, невыносимым образом. Словно в них была заключена не только память, но и чья-то неоконченная жизнь, продолжавшая требовать, чтобы её дожили за неё.

— Я прочту их, — сказал он. — Всё. От первой страницы до последней. И только потом решу, достойны ли они огня.

— Огонь не спрашивает о достоинстве, — сказал Мюррей. — Он просто сжигает.

— Тогда пусть подождёт, — Мур направился к двери. — Он уже подождал тридцать шесть лет. Подождёт ещё несколько недель.

Представитель Августы встал впервые за всё утро. Его голос был хриплым, старческим, с привкусом лекарства от кашля.

— Мистер Мур. Моя госпожа просила передать вам одно. Лично.

Мур остановился.

— Она сказала: «Скажите ему, что Джордж много раз обещал мне уничтожить эти записи при жизни. Он не сделал этого. Не позволяйте ему не сделать этого и после смерти».

Мур посмотрел на старика. Тот дрожал, но не от холода.

— Передайте леди Августе, — сказал Мур медленно, — что обещания, данные живым, не обязательны для мёртвых. Но обещания, данные мёртвым, обязательны для живых.

Он вышел. В прихожей его встретил слуга с плащом, но Мур отказался. Он хотел, чтобы лондонский дождь коснулся его лица, прежде чем он вернётся в свой дом на Болтон-стрит и закроется там с четырьмя тетрадями, которые пахли солью и чужой смертью.

На улице, спускаясь по ступеням, он прижал тетради к груди. В кармане завещание шуршало, как крыло мотылька. Он знал, что за окнами Мюррея трое мужчин сейчас смотрят ему вслед и думают о том, что он несёт в руках. Он знал, что они правы в одном: эти тетради — опасны. Но он знал ещё кое-что, чего не знали они. Он знал, что Байрон никогда не писал, чтобы прятаться. Он писал, чтобы быть услышанным — даже тогда, когда притворялся, что пишет только для себя.

И Мур, шагая по мокрым булыжникам, впервые за многие дни почувствовал не горе, а страх. Страх перед голосом, лежавшим у него под плащом тихо, как затаившееся дыхание, и готовым вот-вот заговорить.

Глава 2

Цена мёртвого поэта

Дом на Болтон-стрит пах ладаном и старыми книгами. Мур никогда не считал это благоухание приятным — оно напоминало ему об ирландских похоронах, о церкви в Дублине, о том детстве, от которого он бежал в лондонские салоны и в дружбу с великими. Но сегодня вечером ладан казался единственно подходящим фоном для того, что лежало на его секретере.

Он не зажигал люстру. Одна свеча в серебряном подсвечнике — подарок жены, привезённый из Венеции до того, как Венеция стала для них словом-раной — стояла слева от тетрадей, отбрасывая тень, которая дрожала каждый раз, когда Мур переводил дыхание. Четыре тома. Он разложил их в порядке номеров. Перед ним лежал первый.

Он налил себе коньяк, не отрывая глаз от страницы. Жидкость была горькой и слишком сладкой одновременно — он ненавидел коньяк, но сегодня это было необходимо, как пинцет при извлечении пули. Он отпил и открыл тетрадь там, где остановился у Мюррея — на второй странице.

«Сегодня ночью я проснулся от дождя. Он бил по ставням Виллы Диодати так, словно кто-то пытался выломать их изнутри. Я лёг в темноте и чувствовал своё тело. Не как приятие — как приговор. Носу. Эту носу. В темноте, когда глаза ещё не видят, а кожа уже помнит, можно притвориться, что всё симметрично. Но стоит зажечь свечу — и она снова там. Неправильная. Моя.»

Мур отпил снова. Огонь коньяка не согрел.

«Я начинаю этот дневник не для потомков. Потомки любят красивую боль. Я пишу, чтобы перестать слышать собственное дыхание. Или чтобы научиться слышать. Иногда я не вижу разницы.»

Он отложил перо — не писал им, а держал в пальцах, словно оружие. Слова на странице были написаны чернилами, которые со временем потемнели до цвета старой крови. Почерк Байрона — тот самый наклонный, спотыкающийся ритм — казался здесь иным. Медленнее. Тяжелее. Каждая буква будто вдавливалась в бумагу не ради скорости, а ради точности, как следы на мокром песке.

Мур перелистнул. Страницы шуршали слишком громко для ночной тишины.

В гостиной на Альбемарл-стрит огонь в камине угасал. Мюррей не подкладывал дров. Он стоял у окна, глядя на улицу, по которой ушёл Мур, и считал в уме. Это было его даром и проклятием — способность видеть за каждым событием цепочку цифр. Стоимость. Риск. Прибыль. Убыток. Он так считал, когда Байрон требовал авансов, которые не отработывал. Так считал, когда скандал с леди Байрон грозил обрушить продажи. Так считал теперь, когда мёртвый поэт угрожал ему из гроба точнее, чем при жизни.

— Он заберёт их на ночь, — сказал Уиггинс. — А завтра утром вернётся с решением.

— Он не вернёт их, — Мюррей не обернулся. — Он вернётся с цитатами.

— Цитаты не имеют юридической силы.

— Цитаты имеют силу разрушения, мистер Уиггинс. Иная, но не меньшая.

Представитель Августы — старик, чьё имя так и осталось произнесённым — сидел в том же кресле, что и прежде, с платком в руке. Он смотрел на тусклый огонь и молчал уже двадцать минут. Теперь он заговорил, и его голос был сухим, как шелест сожжённой бумаги:

— Моя госпожа не просит защиты для себя. Она просит защиты для детей. Её детей. И... дочери покойного.

— Ада, — сказал Мюррей, всё ещё глядя в окно. — Зовут её Ада.

— Ада, — повторил старик, словно произнося имя впервые. — Девочке восемь лет. Она ещё не знает, в каком мире живёт. Если эти тетради увидят свет...

— Если эти тетради увидят свет, — перебил его Уиггинс, — леди Байрон подаст иск о порочащих измышлениях. Иск к издательству, иск к мистеру Муру как распорядителю наследства, иск, возможно, к самому покойному, если позволите так выразиться, через его имение. Я уже составил черновик жалобы. Она готова.

Мюррей наконец обернулся. Его лицо в свете угольков казалось резным, как маска на древней монете.

— Вы составили иск против мёртвого человека, мистер Уиггинс?

— Я составил защиту живых.

— Прекрасно. — Мюррей усмехнулся, но без тепла. — А теперь позвольте мне объяснить вам, в чём вы ошибаетесь. Вы думаете, что дневник Байрона — это сборник непристойностей. Грязные письма. Любовные эскапады. То, за что можно осудить, оштрафовать, забыть через сезон. Вы ошибаетесь. Я прочитал первые страницы. Это не порнография. Это анатомия.

— Анатомия чего? — спросил Уиггинс.

— Анатомия того, как он делал из нас идиотов. Всех нас. Меня, вас, леди Байрон, леди Августу, публику, короля, королеву, черт возьми, всю Англию. Он записывал, как мы смотрели на него, как кланялись, как завидовали, как осуждали. Он знал, что мы видим не его, а зеркало своих желаний. И он писал об этом — не с возмущением, не с морализаторством. С интересом. С тем самым интересом, с каким натуралист описывает насекомое.

Старик поднял глаза.

— Вы хотите сказать, что он высмеивал нас?

— Я хочу сказать, что он испытывал нас. Каждый раз, когда мы думали, что манипулируем им — деньгами, славой, осуждением, любовью, — он записывал, как манипулируем мы. И теперь, мистер Уиггинс, у вас есть иск? Прекрасно. Подайте его. Но представьте, что будет, когда адвокат леди Байрон встанет в суде, а прокуратор зачитает страницу, где Байрон описывает, как она плакала над его коленями в январе шестнадцатого. Или как она угрожала ему самоубийством. Или как он угрожал ей. Вы не понимаете? Это не иск. Это спектакль. И в главной роли — не Байрон. Это мы.

Уиггинс побледнел. Не от страха — от осознания. Он был молод, но не глуп. И он впервые увидел масштаб.

— Тогда их нужно уничтожить, — сказал он тихо. — Немедленно.

Мюррей подошёл к столу, на котором ещё лежали перстень, часы, узелок писем. Он взял часы, открыл футляр. Механизм тикал — исправно, глупо, безразлично.

— Мур не согласится, — сказал он. — Он думает, что дружба обязывает к памяти.

— Дружба обязывает к молчанию, — сказал старик. — Если друг мёртв.

Мур читал дальше. Свеча укоротилась на дюйм, воск стекал по подсвечнику, застывая в причудливых складках, похожих на мёртвую плоть.

«Мюррей прислал письмо. Он спрашивает, когда будут новые песни. Он всегда спрашивает о песнях, когда хочет денег. Я не виню его. Мы торгуем разным: он — бумагой, я — собой. Каждый стих — это кусок плоти, который я отрезаю и бросаю в толпу. Они думают, что это искусство. А это просто ампутация. И я уже не помню, сколько себя осталось.»

Мур отложил тетрадь. Он встал и подошёл к камину, где дрова трещали слишком тихо, словно стесняясь своего тепла. На мантии висело зеркало в раме из чёрного дерева — подарок Байрона, присланный из Равенны вместе со шуткой, которую Мур тогда сочёл остроумной, а теперь не мог вспомнить. Он посмотрел в зеркало и увидел себя: круглое лицо, рыжеватые виски, глаза, которые казались слишком молодыми для человека, перешагнувшего сорок. Он увидел человека, который носил на себе дружбу с великим поэтом как нагрудный знак. Чело-

века, который писал о Байроне стихи, пока тот был жив, и теперь не знал, смеялся ли тот над ними.

Он вернулся к столу. Перед ним лежала страница, которую он не заметил сразу — вставленная между двумя листами, словно позже, впоследствии, в порыве.

«Сегодня я смотрел на своё тело после ванны. Нога. Калека. Я пытался представить, что чувствует женщина, когда видит это. Не жалость — жалость можно пережить. А отвращение, которое она скрывает. Или не скрывает. Я лежал на кровати, мокрый, и думал: если бы я мог отрезать её, отрезать эту часть себя и бросить в огонь — я бы стал другим? Или просто обнаружил бы, что уродство глубже? Что оно не в ноге, а в том, как я смотрю на мир — искоса, снизу вверх, из-под притворной гордости?»

Мур прочитал это дважды. Потом вслух, шёпотом:

— Из-под притворной гордости.

Слова повисли в комнате, как дым.

Он понял кое-что, отчего захотелось встать, открыть окно и дышать лондонским дождём. Это было не просто откровение. Это было оружие — но оружие, направленное не вовне. Байрон вскрывал себя не для того, чтобы вызвать жалость. Он делал это с той же холодной любознательностью, с какой анатом вскрывает труп. И если эти страницы попадут в руки публики, они увидят не героя и не чудовище. Они увидят человека, который смотрел на себя без пощады. А публика ненавидит тех, кто лишает её удобных масок.

Мур снова налил коньяк. Рука дрожала, и он не скрывал этого — перед кем скрывать, в конце концов?

В соседней комнате спала жена. Завтра он должен был идти на обед к лорду Суини — светское мероприятие, где его будут спрашивать о Байроне, выражать соболезнования, ждать, что он, друг покойного, произнесёт что-то достойное. Он знал, что скажут: «Какое несчастье для литературы». И он знал, что теперь не сможет отвечать так, как отвечал раньше. Потому что теперь он читал то, что Байрон думал о собственном теле, о собственном стыде, о собственной лжи. И это лишало его права на удобную скорбь.

Он открыл тетрадь снова, уже не откладывая. Последняя запись на третьей странице была короткой, почти оборванной:

«Я боюсь, что если перестану писать — перестану существовать. И боюсь, что если продолжу — узнаю, что за маской ничего нет.»

Мур закрыл том. Он сидел в полутемноте, слушая, как свеча шипит, готовясь погаснуть. В кармане жилета лежало завещание. «Распорядиться по своему усмотрению». Он думал о Мюррее, который считал деньги. О Уиггинсе, который готовил иски. О старике, который просил защитить Аду. О Байроне, который писал о своей ноге, зная или не зная, что кто-то прочтёт это после его смерти.

И вдруг Мур понял, что Мюррей был прав. Не в том, что дневник нужно сжечь. А в том, что это — боеприпасы. Но они лежали не в руках врагов Байрона. Они лежали в руках его друга. И друг должен был решить: эти пули летят в тех, кто окружал поэта при жизни, или в самого поэта, чей труп ещё не успел остыть в греческой земле?

Он положил ладонь на переплёт. Кожа была прохладной, но не мёртвой. Она хранила тепло чужих рук, чужих ночей, чужого дыхания.

— Что ты хотел? — спросил он тишину. — Чтобы я спас тебя? Или чтобы я спас их от тебя?

Свеча погасла. В темноте Мур остался сидеть неподвижно, прижимая к груди то, что уже начинало его обжигать.

Часть первая. EXILE

Глава 3

Вилла Диодати

17 сентября 1816 года. Женева.

Дождь шёл с вечера, и к полуночи он перестал быть просто дождём. Он стал стеной — серой, шумной, безликой — отделявшей виллу от остального мира так же надёжно, как если бы озеро поднялось и поглотило берег. В комнате на втором этаже, с окнами на запад, горела свеча. Её пламя дрожало не от ветра — ставни были закрыты — а от того невидимого толчка, который проходит через дома, когда гром ударяет слишком близко.

Байрон сидел за столом, не писал, а смотрел на перо. Оно лежало на чистом листе, и этот лист казался ему снегом, на который он не решался ступить. За стеной, в соседней комнате, Полидори храпел — молодой доктор, нанятый быть его секретарём, фактотумом и, по выражению самого Байрона, «надзирателем за моей печенью». Храп был ровным, по-детски обиженным, и Байрон завидовал ему. Зависть к чужому сну — чувство, которое он испытывал всё чаще, как будто слава, пришедшая на него в двадцать четыре года, отняла у него право на простое отключение сознания.

Он взял перо. Не для того, чтобы писать стихи. Стихи — это было другое. Стихи он писал утром, когда кровь ещё не успевала остыть за ночь, когда мысль двигалась быстрее, чем он успевал её осуждать. Сейчас, в полночь, он хотел попробовать нечто иное. Нечто, что не предназначалось для Мюррея, для публики, для леди Мельбурн, которая ждала новых песен, как церковь ждёт чуда.

Он опустил перо.

«Начинаю сегодня, потому что вчера было поздно, а завтра будет ложью».

Перо остановилось. Он посмотрел на строку и почувствовал, как в груди поднимается знакомый холод — не страх, а его двоюродный брат, тот, что приходит после страха, когда ты уже понял, что бояться бесполезно. Он всегда начинал так. Красиво. С удара. Даже в письме к матери, даже в записке повару. Каждая фраза — выход на сцену. Каждое слово — поклон в зрительный зал.

— Ты уже лжёшь, — сказал голос.

Байрон не обернулся. Комната была пуста — он знал это так же твёрдо, как знал, что за дверью храпит Полидори, что внизу спит камердинер, что Шелли с Клэр и Мэри уехали в Колоньи на два дня: Мэри была больна, или притворялась больной, или просто не выносила атмосферы виллы, где дождь превращал людей в заключённых. И всё-таки голос был там.

— Я не лгу, — сказал он вслух, и слова прозвучали глупо, как реплика в плохой пьесе.

— Ты написал «начинаю». Как будто это роман. Как будто у тебя есть читатель, которому нужен пролог. У тебя нет читателя. У тебя есть только я. И я не плачу за билет.

Байрон повернулся. У камина, в кресле, которое он сам сдвинул туда вечером, чтобы сушить ноги, сидел мальчик. Ему было лет двенадцать, может быть, тринадцать — трудно сказать в свете дрожащей свечи. Волосы тёмные, влажные, словно он только что пришёл с улицы, хотя дверь не скрипела. Лицо... Байрон видел это лицо каждый раз, когда случайно заглядывал в зеркало в тот момент, когда не успевал принять позу. До того, как губы вытягивались в ту самую, единственную, отработанную ухмылку.

— Ты слишком молод, — сказал Байрон.

— А ты слишком стар для меня. Но мы оба знаем, что это не имеет значения.

Мальчик — Тень, потому что другого имени у него не было и не могло быть — скрестил ноги. Он носил те же чулки, что и Байрон, только без заплаток на коленях. Ту же рубашку, только без пятна от вина, которое Байрон разлил вчера, пытаясь налить себе, не глядя на

бутылку. Тень всегда был чище. Не лучше — просто чище, как черновик, с которым сравнивают грязную копию.

— Что ты хочешь? — спросил Байрон, поворачиваясь обратно к столу. Он не хотел смотреть на него слишком долго. Это было опасно, как смотреть на солнце — не потому, что ослепнешь, а потому, что увидишь пятна там, где до этого было только светлое небо.

— Я хочу, чтобы ты писал правду.

— Это и есть правда. Я начинаю сегодня.

— Ты начинаешь сегодня, потому что вчера ты был пьян, а позавчера — трус. Ты начинаешь сегодня, потому что Шелли уехал, и тебе не с кем спорить о бессмертии души. Ты начинаешь сегодня, потому что Клэр спала в твоей постели три ночи назад, а ты не знаешь, что с этим делать, кроме как притвориться, что ничего не произошло.

Байрон сжал перо. Перо было хорошим, турецким, с твёрдым пером гусиным, и оно не сломалось. Он бы предпочёл, чтобы сломалось.

— Я не притворяюсь.

— Ты всегда притворяешься. Ты притворялся, когда мать кричала на тебя в Абердине. Ты притворялся, когда Харроу учил тебя быть джентльменом. Ты притворялся, когда лондонские дамы падали в обморок от твоих стихов. И ты притворяешься сейчас, пиша дневник, который читаешь сам себе голосом публичного оратора.

Байрон встал. Его нога — та самая, о которой он думал, не думая, постоянно, как думают о дыхании — соскользнула на пол с мягким, почти беззвучным ударом. Он подошёл к окну, приоткрыл ставню. Дождь брызнул ему в лицо, холодный, озёрный, безличный.

— Если ты так умен, — сказал он, глядя на чёрную воду, — скажи мне, как писать, не притворяясь.

— Не думай о том, что напишешь. Думай о том, что не осмелишься.

Байрон захлопнул ставню. Он обернулся. Кресло у камина было пустым. Тень уходила всегда так — не растворяясь, не исчезая в дыме, а просто переставая быть там, когда ты смотрел прямо. Как собственное отражение в тёмном стекле.

Он вернулся к столу. Свеча шипела, готовясь уйти. Он сел, подтянул к себе лист, и на этот раз не поднимал перо сразу. Он смотрел на бумагу, как на врага, которого нужно одолеть не красотой, а выносливостью.

«Сегодня ночью я проснулся от дождя. Он бил по ставням Виллы Диодати так, словно кто-то пытался выломать их изнутри.»

Он остановился. Это снова было литературно. «Словно кто-то пытался выломать» — это было для читателя, для воображаемого будущего, где кто-то скажет: «Какой образ! Какая сила!» Он зачеркнул строку. Зачеркивал грубо, чернилами, разрывая бумагу.

«Дождь. Ночь. Я не сплю.»

Слишком мало. Слишком похоже на мальчика, который учится писать.

«Я лёг в темноте и чувствовал своё тело. Не как приятие — как приговор. Ногу. Эту ногу. В темноте, когда глаза ещё не видят, а кожа уже помнит, можно притвориться, что всё симметрично. Но стоит зажечь свечу — и она снова там. Неправильная. Моя.»

Он отложил перо. Это было правдой. Это было так правдиво, что ему стало стыдно — не перед кем-то, а перед собой, той частью себя, что всё ещё сидела в кресле у камина и смотрела на него снизу вверх с выражением, знакомым по детским утрам в Абердине: мать ещё не просыпалась, и дом принадлежал только ему и тишине.

Он продолжил:

«Я начинаю этот дневник не для потомков. Потомки любят красивую боль. Я пишу, чтобы перестать слышать собственное дыхание. Или чтобы научиться слышать. Иногда я не вижу разницы.»

Это было лучше. Это было ближе к коже. Но Тень, если бы он был здесь, наверняка сказал бы, что и это — поза. Поза скромности, поза отречения от позы. Круг, в котором он ходил годами, как Манфред на своей горе.

За дверью слышались шаги. Лёгкие, неровные — кто-то бродил по коридору, не решаясь постучать. Байрон узнал походку. Клэр. Она пришла бы, если бы он не запер дверь. Она всегда приходила, когда дождь был слишком громким, или когда ей снился кошмар, или когда она просто хотела убедиться, что он ещё здесь, ещё не утонул в озере, ещё не уехал ночью, оставив её одну в этом доме, который она выбрала для него, потому что он был далеко от Англии, далеко от жены, далеко от славы.

Он не встал открывать. Он смотрел на дверь, как смотрят на воду, где тонет человек, которого не в силах спасти. Не потому, что жалеешь. А потому, что боишься, что он потянет тебя за собой.

Шаги замерли. Затем — тихий, почти детский всхлип, приглушённый ладонью. Потом шаги удалились, быстрее, словно она бежала от собственного позора.

Байрон вернулся к листу.

«Она приходит ночью. Я знаю, что она приходит. Я знаю, что могу открыть дверь, впустить её, сказать то, что она хочет услышать — или то, что заставит её уйти навсегда. Но я не делаю ни того, ни другого. Я сижу и пишу о том, что не открываю дверь. Это трусость? Или это единственная доброта, на которую я способен — не обещать того, что не смогу дать?»

Он перечитал. Зачеркнул последнее предложение. Оно было слишком красиво, слишком оправдывающим. «Единственная доброта» — это было уже не он, это был персонаж, который он играл в собственном дневнике. Он вычеркнул и написал вместо:

«Я сижу и пишу, потому что писать легче, чем прикасаться. Прикосновение требует присутствия. А я присутствую только в словах. Вне их — я тень. Она — тень. Все мы здесь — тени, бродящие по дому у мёртвого озера.»

Он откинулся на спинку кресла. Нога ныла, как всегда ныла, когда погода менялась, когда он сидел слишком долго, когда он писал. Боль была старой знакомой, преданнее большинства любовниц. Он не жаловался на неё вслух — жалобы казались ему ещё одной формой театра, ещё одним способом привлечь взгляд. Но в дневнике, в этой новой, неопределённой территории, он позволил себе написать:

«Нога болит. Я не скажу об этом Полидори, потому что он назначил мне микстуру, и я вылил её в горшок с пальмой. Я не скажу об этом Шелли, потому что Шелли верит, что дух превосходит плоть, и я не хочу разрушить его веру собственной плотью. Я говорю об этом только здесь, потому что бумага не ответит сочувствием. А сочувствие — это то, чего я боюсь больше, чем боли.»

Он услышал, как дождь стихает. Не перестаёт — а просто переходит в другую фазу, становится ровным, монотонным, как дыхание спящего. Это был тот момент ночи, когда мир казался настолько пустым, что можно было позволить себе думать, что ты — его центр.

Тень снова был в кресле. Байрон не видел, как он появился. Он просто был там, когда взгляд вернулся.

— Лучше, — сказал мальчик.

— Недостаточно.

— Никогда не будет достаточно. Правда — это не озеро, в котором можно утонуть. Это лужа, в которой можно увидеть своё отражение. И отвернуться.

Байрон посмотрел на него. На мальчика — самого себя, но без ноги, без славы, без всех слоёв защиты, наращенных годами, как жемчужина наращивает раковину вокруг песка.

— Почему ты приходишь? — спросил он. — Чего ты хочешь?

Тень улыбнулся. Это была улыбка, давно забытая Байроном — улыбка ребёнка, ещё не научившегося использовать зубы как оружие.

— Я хочу, чтобы ты перестал быть историей. Хотя бы на этих страницах. Истории — для Мюррея. Для леди Мельбурн. Для Англии, которая любит тебя, потому что ты даёшь ей повод завидовать. Но здесь — не история. Здесь — только ты, я и дождь. И дождь не купит твоей книги.

Байрон хотел возразить. Он всегда возражал. Это был его способ существования — спор, дуэль, поединок, где победа измерялась не в том, кто прав, а в том, кто последним оставил слово неотвеченным. Но сейчас, в этой комнате, с этим мальчиком, который был и не был им, он не нашёл слов.

Он повернулся к столу и написал последнее на сегодня:

«Я не знаю, кто я без истории. Но я начинаю подозревать, что история — это то, что я рассказываю другим, чтобы не рассказывать себе.»

Он закрыл тетрадь. Не запер — просто закрыл, как закрывают глаза, не желая видеть. Свеча догорала, и тень от его собственной руки, лежавшей на переплёте, казалась ему чужой, отдельной, живой.

За окном озеро было чёрным и неподвижным. Оно не знало, что на его берегу кто-то начал писать дневник. Оно не знало, что через два дня сюда вернётся Шелли и предложит рассказать страшные истории, чтобы развеять дождь. Оно не знало, что одна из этих историй родит чудовище, которое переживёт всех их. Озеро просто было, как правда — не красивая, не страшная, просто существующая, без свидетелей.

Байрон сел в кресло у камина, туда, где сидел Тень, и закрыл глаза. Он не спал. Он только притворялся, что спит — потому что это было единственное, что он умел делать лучше, чем писать.

Глава 4

Неправильная нога

18 сентября 1816 года. Утро. Вилла Диодати.

Он проснулся от того, что нога судорожно сжалась — не в спазме, а в том более древнем, мышечном помнении, которое не забывает, даже когда разум уже выстроил вокруг себя стены из слов. Байрон лежал на спине, глядя в балдахин кровати, и считал до двадцати, пока боль не отступила в свою обычную, привычную форму — не острую, а присутствующую, как гул в ушах после выстрела.

Утро было серым, но дождь, наконец, стих. В комнате пахло сыростью и остывшим воском. Он встал, не позвав камердинера, и подошёл к столу. Тетрадь лежала там, где он оставил её — раскрытая на последней странице, с чернилами, которые успели подсохнуть за ночь. Он прочитал написанное, и ему стало стыдно. Не потому, что было плохо. А потому, что было слишком хорошо — слишком похоже на то, что он мог бы опубликовать, если бы решил написать исповедь вместо поэмы.

Он взял перо и написал под строкой:

«Нога. Снова. Она не даёт мне забыть, откуда я начинал. А начинал я в Абердине, где ветер с моря пах рыбой и угольной пылью, и где мальчики на улице научились ненавидеть меня раньше, чем я научился ненавидеть себя.»

Перо остановилось. Он посмотрел на слово «Абердин», и слово растаяло, как капля чернил в луже.

Ветер был с севера, и он нёс с собой не просто холод — он нёс запах камня, намокшей шерсти и чего-то металлического, чужеродного, чего маленький Джордж не мог назвать. Ему было пять, может быть, шесть. Время тогда измерялось не датами, а событиями: до того, как

мать разбила тарелку, после того, как соседский мальчик сплюнул ему под ноги. Дни были похожи друг на друга, как камни на берегу — разные на ощупь, но одинаковые в своей твёрдости.

Он стоял у окна, глядя на улицу. Абердинские дома были серыми, прижатыми друг к другу, словно стыдясь собственной бедности. На улице играли мальчики. Он видел их сквозь стекло, запотевшее от его дыхания. Они бегали, спотыкались, поднимались — и бегали дальше, как будто падение было частью игры, а не концом её. Он знал, что не может так. Не потому, что не хотел. А потому, что его нога, та, которую мать называла «неудачей природы», а он сам ещё не называл никак, не позволяла бегать так, чтобы никто не заметил.

— Ты хочешь выйти? — спросил голос.

Он обернулся. В углу комнаты, там, где печка ещё не прогрелась, сидел мальчик. Ему было столько же лет, сколько Джорджу, может быть, на год младше. Он был одет в то же, в чём Джордж — серые чулки, потёртый камзол, рубашку с воротником, который чесал шею. Но его ноги, обе, стояли прямо на полу, параллельно друг другу, как ножки стула.

— Нет, — сказал Джордж.

— Ты хочешь, — мальчик не спорил. Он констатировал, как констатируют погоду. — Ты хочешь, но боишься, что они увидят.

Джордж посмотрел на свою ногу. Он ещё не знал слова «деформация». Он знал только, что одна стопа повёрнута внутрь, что пятка не ложится на землю так, как должна, что когда он ходит, это похоже на походку пьяного человека — а пьяных он видел на улицах Абердина достаточно, чтобы понять: это смешно. Смешно для других. Для него — это просто способ передвигаться, единственный, который у него есть.

— Я могу остаться дома, — сказал Джордж.

— Ты можешь. Но дома она тоже есть.

«Она» — это мать. Мать, которая сейчас была наверху, и шаги её были слышны через потолок — тяжёлые, неровные, как будто она ходила не по комнате, а по краю пропасти. Джордж знал эти шаги. Он знал, что через минуту она спустится, и что её настроение будет либо нежным, либо огненным, и что предсказать это невозможно, как предсказать, какая волна разобьётся о камень сильнее.

— Ты боишься её, — сказал мальчик.

— Нет.

— Ты боишься её, потому что она похожа на тебя. Она тоже хромает. Только не ногой.

Джордж хотел возразить, но в это время раздалися шаги на лестнице. Медленные, осторожные — не потому, что она старела, а потому, что она несла в руках что-то тяжёлое. Или потому, что она несла в себе что-то тяжёлое.

Кэтрин Гордон вошла в комнату. Она была женщиной среднего роста, с лицом, способным быть красивым, если бы не напряжение челюсти — не расслаблявшееся никогда, даже во сне, как говорила служанка, уволенная Кэтрин за эти слова. Её волосы были собраны в пучок, из которого выбивались пряди, и глаза — серые, как абердинское небо — смотрели на сына с выражением, ещё не понятным ему: смесь жалости, раздражения и чего-то похожего на страх перед собственным отражением.

— Ты стоишь у окна, — сказала она. — Опять.

— Я смотрю, — сказал Джордж.

— На что? На мальчишек, которые тебя бьют?

— Они меня не бьют.

— Не бьют сегодня. А вчера? Вчера ты пришёл с разбитым коленом. Я видела.

Джордж молчал. Он не сказал матери, что разбил колено сам, споткнувшись о камень, убегая от мальчишек, которые не били его, а просто кричали. Кричали слова, которые он не полностью понимал, но чей смысл проникал в него точнее, чем кулак: «Калека». «Урод». «Гор-

бун». Он не был горбуном, но для них все слова, обозначающие неправильное тело, были одним словом.

— Ты не должен позволять им видеть, — сказала Кэтрин. Она подошла к нему, опустилась на колени — и это было редкое, тревожное зрение, потому что она падала на колени только тогда, когда молилась или когда плакала. — Ты должен ходить медленнее. С достоинством. Как лорд.

— Я не лорд, — сказал Джордж.

— Ты — сын лорда. И ты будешь лордом, когда умрёт тот старый дьявол в Ньюстед. — Её голос сорвался на шёпот, и в этом шёпоте было не обещание, а угроза. — А пока ты должен быть лучше их. Ты должен быть умнее, красивее, острее. Ты должен заставить их забыть.

— Забыть что?

— Забыть то, что они видят.

Она положила руку ему на плечо. Рука была тяжёлой, горячей, с пальцами, которые сжимали слишком сильно. Джордж не пошевелился. Он знал, что если отстранится, она либо заплачет, либо ударит. И он не знал, что хуже.

— Я научу тебя, — сказала она. — Я научу тебя держать спину прямо. Я научу тебя говорить так, чтобы они слушали тебя, а не смотрели на твои ноги. Я научу тебя быть опасным.

— Опасным?

— Да. Опасным. Потому что безопасные мальчики — те, над кем смеются. А опасные — те, кого боятся. И страх — лучше, чем смех. Запомни это.

Она встала, и её колени хрустнули. Она отвернулась к окну, и Джордж увидел, как её плечи дрогнули — один раз, быстро, как будто внутри неё что-то сломалось и тут же восстановилось. Когда она обернулась, её лицо было сухим.

— Иди. Надень чистые чулки. Мы идём к портнихе.

Она вышла, и дверь закрылась с мягким, почти обиженным щелчком.

Мальчик в углу поднялся. Он подошёл к окну и встал там, где стояла Кэтрин.

— Она любит тебя, — сказал он.

— Она хочет, чтобы я был другим.

— Это одно и то же. Для неё.

Джордж подошёл к зеркалу. Оно было маленьким, помятое, с потемневшими краями. В нём он видел себя — худое лицо, слишком большие глаза, руки, которые казались чужими на концах тонких запястий. И ноги. Он поднял камзол и посмотрел. Чулок был снят, и он видел стопу — бледную, с синими венами, повернутую внутрь под углом, который казался не просто неправильным, а обидным, как будто кто-то, лепя его, отвлёкся в последний момент.

— Я могу спрятать, — сказал он. — В ботинок. В чулок. В танец.

— В танец? — мальчик усмехнулся. — Ты танцуешь?

— Мать учит. Она говорит, если я буду держать руки правильно, никто не заметит ног.

— А если заметят?

— Тогда я улыбнусь. Она говорит, улыбка отвлекает.

— От чего?

— От всего.

Они шли по улице, и Джордж старался идти так, как учила мать — медленно, с выпрямленной спиной, с руками, слегка отведёнными от тела, чтобы казаться шире, увереннее. Но камни мостовой были мокрыми, и он споткнулся. Не упал — успел ухватиться за стену — но споткнулся. И в этот момент, в ту долю секунды, когда равновесие терялось, он услышал смех.

Не громкий. Сдержанный, взрослый — со стороны таверны, где стояли два мужчины в мокрых плащах. Один из них указал пальцем, не стесняясь, и второй повторил жест.

— Не оборачивайся, — сказала Кэтрин, не замедляя шага.

— Я не оборачиваюсь.

— И не красней. Краснота — это признание.

Он не краснел. Он чувствовал, как лицо горит, но это было не краснота. Это было что-то другое — что-то, что позже, взрослея, он научится называть яростью, но что сейчас было просто жжением в груди, горячим и твёрдым, как уголь.

Они дошли до портнихи. Это была низкая комната с пахнущими лавандой тканями, где воздух был тёплым и влажным, как в чреве. Портниха — старая шотландка с усами, которых Джордж боялся больше, чем собак, — сняла с него мерку. Её руки были холодными и быстрыми.

— Нога... — начала она.

— Нога не имеет значения, — перебила Кэтрин. — Вам нужно сшить брюки, которые будут сидеть правильно. Чтобы при ходьбе складка падала прямо.

— Но при такой...

— Я сказала — не имеет значения.

Портниха замолчала. Она посмотрела на Кэтрин, затем на мальчика, и в её взгляде было то, что Джордж уже начинал узнавать: смесь жалости и облегчения. Облегчения от того, что это не её ребёнок. Что ей нужно только сшить брюки и забыть.

Когда они выходили, на пороге стоял мальчик из соседнего дома. Тот самый, который вчера кричал «калека». Он был старше Джорджа на два года, рослый, с лицом, которое уже начинало приобретать те грубые черты, что делают мужчин похожими на отцов, бывших жён.

Он посмотрел на Джорджа. Прямо. Не на ноги — в глаза. И улыбнулся. Улыбка была беззлобной, почти дружелюбной. И это было хуже, чем крики. Потому что в этой улыбке было признание: «Я знаю. Ты знаешь. И мы оба знаем, что я могу сказать это вслух, когда захочу».

Джордж остановился. Мать уже шла вперёд, не оглядываясь. Мальчик на пороге сделал шаг к нему.

— Ты новые брюки? — спросил он. — Чтоб ногу не видно было?

Джордж смотрел на него. В груди горел уголь, но руки его были холодными. Он вспомнил, что сказала мать: «Будь опасным».

— Нет, — сказал он, и его голос звучал чужим, выше, чем он хотел. — Чтобы твоя мать не плакала, когда увидит, в каких рваных штанах ходит её сын.

Мальчик моргнул. Он не ожидал. Они никогда не ожидали, когда бьют не кулаком, а словом. Джордж сам не понял, откуда это пришло — может быть, от матери, учившей его остроте; может быть, от отца, которого он не помнил, но чьи письма, полные язвительности, хранились в комод; может быть, откуда-то из глубины, где злость к собственному телу переплавлялась в злость к чужим лицам.

Мальчик на пороге сплюнул. Не на него — рядом, на камни.

— Урод, — сказал он, но уже тише, уже без уверенности.

— Да, — сказал Джордж. — Но умный урод. А ты — тупой, с двумя прямыми ногами. Считай, что тебе повезло.

Он повернулся и пошёл к матери, который уже остановилась и смотрела на него. Он не мог прочитать её лицо. Он не знал, гордится ли она, или боится, или просто удивлена тем, что он — её сын, её отражение, её порок — способен на такое.

Она протянула ему руку. Он взял её. Её ладонь была мозолистой, сухой, сгорбленной от работы, которую она никогда не должна была делать, будучи леди Гордон. Они пошли по мокрой улице, и ветер с моря гнал им навстречу чайки и запах гниющих водорослей.

— Ты не должен был, — сказала она тихо.

— Я знаю.

— Но ты сделал.

— Да.

Она сжала его руку сильнее. Не так, как прежде — не из страха, а из чего-то другого. Из признания.

— Хорошо, — сказала она. — Хорошо. Но запомни: острое слово — это нож. Нож можно использовать один раз, прежде чем его переточат. Не трать его на мальчишек. Трать на тех, кто может тебя уничтожить.

Джордж кивнул. Он не понял тогда, что она имеет в виду. Он поймёт через много лет, когда будет стоять в лондонском салоне, и леди Мельбурн спросит его о его детстве, и он ответит остроумной фразой, которая заставит зал вздохнуть от восхищения — и в этот момент он вспомнит мать, мокрые камни, мальчика на пороге, и поймёт, что точил нож всю жизнь, чтобы однажды им ударить. Но сейчас, в Абердине, он только шёл, прижимаясь к её боку, и чувствовал, как она дрожит — не от холода, а от того, что она только что отдала ему часть себя, и эта часть была горькая, как желчь.

Байрон открыл глаза.

Он был в Вилле Диодати, за столом, лицом на переплёте тетради. Свеча давно погасла, но утро вошло в комнату через щели в ставнях — серое, мокрое, шотландское утро, перенесённое через десятилетия и сотни миль.

Он поднял голову. Рука затекла, и в пальцах он всё ещё чувствовал ту сухую, мозолистую ладонь. Он посмотрел на свою руку — взрослую, с длинными пальцами, с кольцом с гербом, которое он носил, чтобы напоминать себе о происхождении. Рука, писавшая «Чайльд-Гарольда», рука, коснувшаяся бесчисленных женских щёк. Рука, всё ещё помнившая, каково — держаться за мать, учащую тебя быть опасным, потому что сама боится быть слабой.

Тень сидел на подоконнике. Он был старше теперь — лет десять, может быть, одиннадцать. Возраст Тени менялся, как меняется вода в реке.

— Ты плакал, — сказал он.

— Нет.

— Ты плакал, когда писал. Чернила размазаны.

Байрон посмотрел на страницу. Действительно — несколько строк были размыты, и он не знал, когда это произошло. Возможно, когда он описывал руку матери. Возможно, когда он вспомнил мальчика на пороге.

— Это не важно, — сказал он.

— Важно. Потому что ты пишешь не для того, чтобы забыть. Ты пишешь для того, чтобы вернуться. И возвращаться — опасно. Ты можешь застрять.

Байрон закрыл тетрадь. Он встал и подошёл к окну, открыл его. Воздух Женевы был другим — мягче, без морской соли, без запаха угля. Но ветер всё равно напоминал ему о детстве. Ветер всегда напоминал.

— Я не застряну, — сказал он.

— Ты уже застрял. В каждом, кого касаешься, ты ищешь ту руку. Ту, которая сжимает тебя и говорит: «Будь опасным». Ты ищешь мать в каждой женщине. И ненавидишь их, когда они оказываются просто людьми.

Байрон не ответил. Он смотрел на озеро, на котором поднимался туман, и думал о том, что Шелли скоро вернётся, и что они снова будут спорить о бессмертии, о поэзии, о том, что мир можно изменить. И он думал о том, что Шелли не знает — не может знать — что некоторые люди рождены не для того, чтобы менять мир. Они рождены для того, чтобы учиться ходить по камням, не падая.

Он вернулся к столу и открыл тетрадь на новой странице. Перо было сухим, и он окунул его в чернила.

«Я научился ненавидеть свою ногу не потому, что она болит. А потому, что она даёт другим право смотреть на меня сверху вниз. И я научился ненавидеть тех, кто смотрит. Но больше всего я ненавидел себя — за то, что смотрел на себя их глазами.»

Он отложил перо и посмотрел на Тень.

— Достаточно правдиво?

Тень улыбнулся — той самой улыбкой, которую Байрон видел в зеркале Абердина, до того, как научился улыбаться по-другому.

— Пока хватит, — сказал он. — Продолжай.

Глава 5

Мать как первая буря

19 сентября 1816 года. Вилла Диодати.

«Я думал, что изгнание — это когда тебя выгоняют из страны. Теперь я понимаю: изгнание — это когда страна остаётся внутри тебя, но ты больше не можешь в ней жить. Англия — это не остров. Это мать. Это нога. Это то, от чего я бегу, не отрываясь.»

Мур отложил перо, которым делал пометки на полях — он не заметил, как начал это делать, — и перечитал строку. Он сидел в кабинете на Болтон-стрит, и часы на камине показывали половину второго ночи. Свеча, которую он зажёл, заменив погасшую, стояла в луже застывшего воска, и её пламя было слишком высоким, слишком нервным.

Он знал эту мысль. Он сам писал об Ирландии так — о стране, которая была раной, а не родиной. Но у Байрона это звучало иначе. У Мура изгнание было политическим, почти литературным. У Байрона — телесным. Как нога. Как мать.

Он перелистнул страницу.

Она пахла ромом и лавандовым водой — запах, который маленький Джордж не мог разделить на составляющие, воспринимая его как единое целое, как погоду в доме. Когда рома было много, лаванда побеждалась, и дом становился тяжёлым, горячим, опасным. Когда рома было мало — или когда он успевал выветриться к утру, — лаванда поднималась, и тогда можно было подойти к ней, положить голову на колени, услышать, как она напевает старые шотландские песни, фальшивя на высоких нотах.

Сегодня рома было достаточно.

Джордж сидел у огня, не глядя на неё. Он знал, что она стоит у окна, потому что слышал скрип половицы под её весом — она была женщиной плотной, сильной, с плечами, которые казались слишком широкими для женского платья. Он слышал, как она дышит: ровно, потом срывается, потом снова ровно. Это был её ритм, который он выучил раньше, чем буквы. Ровное дыхание — ещё безопасно. Срыв — надо замереть. Затем ровное — можно дышать. Но если после срыва наступала тишина, если она замирала на полуслове, тогда надо бежать. Или, если бежать некуда, притвориться спящим.

— Ты смотришь в огонь, — сказала она.

Голос был тяжёлым, но не враждебным. Пока.

— Да, мама.

— Что ты видишь?

— Угли.

— Не говори глупостей. Что ты видишь?

Он обернулся. Она стояла в полутемноте, и лицо её было разделено на две половины — одна освещена огнём, другая погружена в тень комнаты. Глаза на освещённой стороне казались светлыми, почти золотыми. Глаза в тени — чёрными.

— Я вижу... — он замаялся. Правильный ответ был важен. От него зависело, пойдёт ли вечер к ласке или к буре. — Я вижу лицо.

Она рассмеялась. Смех был резким, с привкусом рома, но в нём не было злобы. Или её злоба была такой, что он ещё не умел отличать её от других звуков.

— Лицо. В углях. Ты — мой сын. Ты видишь лица там, где другие видят только пепел. — Она подошла к нему, и её шаги были тяжёлыми, неровными, но не от ноги — от рома. Она опустилась на колени рядом с ним, и он увидел, что она плакала. Следы слёз были на щеках, но она не вытирала их. Она позволяла им сохнуть самим, как будто это были не слёзы, а пот.

— Ты знаешь, что сегодня день рождения твоего отца? — спросила она.

— Нет.

— Он бы был стар. Очень стар. И очень пьян. Он был пьян, когда зачал тебя. Он был пьян, когда умер. Он был пьян, когда продал Ньюстед, чтобы расплатиться с долгами. — Она взяла его лицо в ладони. Ладони были горячими, сухими, с мозолями от домашней работы: слугам её поручить она не могла — слуги стоили денег, которых не было. — Но ты — не он. Ты будешь лордом. Ты вернёшь то, что он потерял. Ты заставишь их всех смотреть на тебя.

Её пальцы сжимали его челюсть. Не больно — почти. Но достаточно, чтобы он почувствовал, что его лицо — это глина, которую она лепит.

— Я буду лордом, — повторил он. Это было заклинание, которое она требовала от него чаще, чем молитвы.

— Ты будешь лордом. И они заплатят. Все, кто смотрел на меня сверху вниз. Кто говорил: «Бедная Кэтрин, вышла замуж за дьявола». Кто говорил: «Бедный мальчик, с такой матерью и таким отцом». Они заплатят. Ты заставишь их.

Она отпустила его лицо и встала. Её платье задело уголья, и она не заметила этого — или не стала замечать. Джордж увидел, как ткань начала тлеть, и бросился к ней, отбивая искры ладонью. Он обжёгся, но не вскрикнул. Он уже знал, что вскрик вызывает у неё не жалость, а раздражение.

— Что ты делаешь? — она оттолкнула его, но не сильно. Просто отодвинула, как отодвигают мебель, которая мешает. — Не лезь под ноги.

— Платье горело.

Она посмотрела на подол. Там осталось чёрное пятно, запахло шерстью и страхом.

— Горело, — повторила она, словно пробуя слово на вкус. — Всё горит. Весь этот дом. Весь этот город. Вся Шотландия. — Она схватила со стола пустую рюмку и бросила её в камин. Рюмка разбилась о камни, и осколки вылетели наружу. Один из них ударил Джорджа в щеку. Он не пошевелился.

Она обернулась к нему. Её глаза были широкими, и в них был не гнев. В них был ужас. Ужас перед собой.

— Ты не плачешь, — сказала она. — Почему ты не плачешь?

— Я не хочу, — сказал он.

— Врёшь. Все дети плачут. Ты плачешь, когда я не вижу. Я слышу тебя ночью.

Он не ответил. Он действительно плакал ночью, в подушку, прижавшись лбом к холодной стене, чтобы она не слышала. Но она слышала. Она всегда слышала всё — шаги на лестнице, шёпот служанок, его ночные всхлипы. Она слышала, но приходила только тогда, когда ей было нужно — нужно его обнять, или наказать, или просто убедиться, что он ещё там, ещё принадлежит ей.

Она подошла к нему снова. На этот раз её движения были другими — медленными, неуверенными, как у старухи, хотя ей было чуть за тридцать. Она опустилась рядом с ним на пол, не на колени — просто села, скрестив ноги, как девчонка.

— Прости, — сказала она. — Я... иногда я не себя.

Он знал это. Он знал, что есть две матери. Одна — та, что сейчас сидит рядом, гладит его волосы, целует его в макушку, шепчет: «Мой мальчик. Мой прекрасный мальчик». Другая — та, что бросает рюмки, кричит на служанку, плачет у окна, не позволяя ему подойти. Он не знал, какая из них настоящая. Он боялся, что обе. Или что ни одна.

— Ты меня любишь? — спросила она.

Этот вопрос был опасен. Он знал это инстинктивно, как зверёк знает запах хищника. Если ответить слишком быстро — она не поверит. Если слишком медленно — обидится. Если слишком тихо — не услышит. Если слишком громко — подумает, что он кричит из страха.

— Люблю, — сказал он, выбирая средний тон.

— Поклянись.

— Я клянусь.

— Чем?

Он замер. Он не знал, чем клясться. Он не верил в Бога так, чтобы клясться Ему — церковь была для него местом сквозняков и запаха воска, а не присутствия. Он не мог клясться своей честью — он ещё не знал, что это такое. Он мог клясться только собой.

— Собой, — сказал он. — Я клянусь собой.

Она вздрогнула. Потом обняла его так сильно, что он почувствовал, как хрустят его рёбра. Она пахла ромом, потом и чем-то сладким — может быть, тем, что она ела утром, может быть, просто запахом её кожи. Этот запах он запомнит на всю жизнь: даже лёжа в чужой постели в Венеции, в Равенне, в Миссолонги, он вдруг поймёт, что ищет в женщинах именно его — запах бури, за которой следует затишье.

— Не оставляй меня, — шептала она. — Когда станешь лордом. Когда станешь великим. Не оставляй меня. Потому что если ты оставишь, я умру. Я умру, и ты будешь виноват.

Он не отвечал. Он лежал в её объятиях, чувствуя, как она дрожит, и думал: «Это и есть любовь? Это и есть то, о чём говорят священники и поэты? Это — когда тебя держат так, что больно, и говорят, что умрут, если ты уйдёшь?»

Он не знал другой любви. Он не знал, что есть любовь, которая не угрожает. Которая не требует клятв. Которая просто есть, как воздух, как свет в окне.

Байрон смотрел на страницу. Чернила подсохли, но он не продолжал. Он сидел в Вилле Диодати, и за окном было утро, но такое серое, что его можно было принять за вечер. Тень сидел на полу, спиной к камину, где дрова трещали слишком тихо.

— Ты думаешь, она была злой? — спросил Тень. Ему было теперь лет четырнадцать — возраст, в котором Байрон впервые понял, что может соблазнять.

— Нет, — сказал Байрон. — Она была испуганной.

— Испуганные люди кусаются.

— Да.

— А ты выучил укус. Ты выучил, что любовь — это когда тебя держат за горло, и ты благодаришь за это. Потому что если отпустят — ты упадёшь.

Байрон не ответил. Он взял перо и написал:

«Я ищу в каждой женщине эту бурю. Я ищу ту, которая схватит меня и скажет: «Не оставляй, или я умру». И когда она говорит это — я чувствую себя живым. А когда она не говорит — мне скучно. Или страшно. Или я начинаю провоцировать её, чтобы она наконец сказала.»

Он отложил перо. Тень молчал.

— Это правда? — спросил Байрон.

— Это начало правды, — сказал Тень. — Продолжение будет хуже.

Мур закрыл тетрадь. Он сидел неподвижно, и свеча перед ним догорала, шипя. В соседней комнате его жена, Бесси, повернулась во сне — он слышал скрип кровати. Он подумал о ней. О Бесси, никогда не требовавшей клятв, не бросавшей рюмки — просто бывшей рядом, тихо, верно. Он подумал, что Байрон никогда бы не понял такой любви. Или, может быть, понял бы — но отверг бы, как слишком лёгкую, слишком безопасную, слишком похожую на мир без драмы.

Он встал и подошёл к окну. Лондон спал, и только где-то вдали лаяла собака. Он подумал о Кэтрин Гордон, о которой читал в биографиях — «вспыльчивая», «пьющая», «ненормаль-

ная». Но в дневнике Байрона она была другой. Она была первой женщиной, которая научила его, что близость — это угроза. Что ласка — это заложник. Что любовь и страх — это сиамские близнецы, разделить которых невозможно без смерти обоих.

И он подумал о своей роли. Он — друг, которому доверили эти страницы. Но он также — человек, который писал о Байроне стихи, пока тот был жив. Который любил его, завидовал ему, устал от него. Часть мифа, созданного Байроном вокруг себя, — того мифа, что теперь, в этих тетрадах, он пытался разобрать, как хирург разбирает труп.

Мур вернулся к столу и открыл тетрадь снова — не к первой странице, а туда, где остановился. Нужно было прочесть дальше, узнать, куда привела эта первая буря.

Но перед этим он написал на полях собственной рукой — впервые за эту ночь — одно слово:

«Прости».

Он не знал, кому адресует это слово. Байрону? Кэтрин? Себе? Возможно, всем сразу. Он только знал, что тетради становились тяжелее с каждой страницей, и что огонь в камине на Альбемарл-стрит, который он никогда не видел, уже начинал теплеть ему ладони.

Глава 6 Школа власти

Харроу. 1801.

Запах Харроу был запахом мокрой шерсти, старого известняка и дыма, который въедался в каменные стены прежде, чем мальчики успевали придумать себе имя. Джордж приехал туда в конце холодного утра, когда колёса экипажа скользили по глине, а холм поднимался над дорогой тёмной спиной. Школа стояла на нём, как крепость, которой не требовалось защищаться: все, кто попадал внутрь, сами соглашались на её законы.

Мать сидела напротив, укутанная в дорожный плащ. Она почти не разговаривала всю дорогу. Это было хуже её обычных вспышек: когда Кэтрин молчала, Джордж чувствовал себя не оправданным и не виноватым, а вещью, которую она забыла где-то между Абердином и Лондоном. Перед самым поворотом к воротам она наклонилась, поправила ему воротник и задержала пальцы у горла.

— Не сутулься, — сказала она. — Они сначала смотрят на плечи. Потом — на лицо. До ног дойдут последними, если ты сам не попросишь.

— Я не прошу.

— Все просят. Одни голосом, другие походкой. Ты должен научиться просить иначе.

Она вынула из сумки чистый платок, пахнувший лавандой, и сунула ему в карман сюртука. Он хотел спросить, когда она приедет за ним. Вопрос встал в горле и там остался. Мать уже смотрела в окно, на серые корпуса, на мальчиков в тёмных куртках и белых воротниках, которые перебежали двор, не замечая дождя.

— Будь опасным, — сказала она наконец. — Страх лучше, чем смех. Ты помнишь?

— Помню.

— Не просто помни. Сделай так, чтобы они помнили тебя.

Она поцеловала его в лоб. Поцелуй вышел быстрым, почти сердитым. Когда кучер открыл дверцу, она не вышла проводить его до крыльца. Осталась в экипаже, словно школа уже забрала сына и ей незачем смотреть, как это происходит.

Первым его встретил не учитель, а старший мальчик с красным от холода лицом. На нём была синяя куртка, на рукавах блестели пуговицы, а галстук был затянут так туго, будто он сам себе не доверял. Он назвался Лоутоном и, не протягивая руки, осмотрел Джорджа с головы до пят.

— Новый? Как тебя зовут?

— Байрон.

— Байрон, — повторил тот, словно примеряя слово к чужому платью. — Лордский выводок, значит. Идём. Не отставай.

Джордж поставил ногу на ступеньку. Она была мокрой, подошва скользнула, и он вынужден был ухватиться за перила. Лоутон повернул голову. Не рассмеялся — только посмотрел. Этот краткий взгляд был хуже смеха. В нём уже лежало знание, которое мгновенно становилось общим: у новенького есть слабое место.

Внутри было теплее, но не уютнее. Узкие коридоры отдавали гулом шагов; из классной комнаты доносилось монотонное латинское склонение; где-то били ладонью по столу, требуя тишины. На стенах висели доски с именами прежних учеников — победителей, капитанов, погибших на войне. Джордж прочёл несколько фамилий и почувствовал, что у каждого из этих мёртвых мальчиков была перед ним фора: они успели вырасти в то, чем здесь полагалось быть.

Общая спальня оказалась длинной комнатой под крышей. Двадцать узких кроватей стояли двумя рядами, железные рамы касались друг друга, а над каждой висела полка для щётки, молитвенника и пары чулок. В дальнем окне дрожал серый свет. Лоутон бросил его чемодан на ближайшую кровать.

— Это твоё место. Подъём до рассвета. Умывание в холодной воде. Опоздаешь к молитве — будешь стоять. Пожалуешься — будешь стоять дольше. Если мистер Друри спросит, что ты читал, отвечай сразу. Если старшие велят бежать за пивом, беги быстро. Всё понятно?

— Не всё.

Лоутон усмехнулся.

— Что именно?

— Почему ты говоришь так, будто мне оказали милость, пустив сюда?

Несколько мальчиков, раскладывавших вещи, замерли. Лоутон приблизился. Он был выше почти на голову, пах кислым пивом и мокрыми перчатками.

— Потому что тебе оказали милость, Байрон.

— Тогда я благодарю. Но милости принято делать без объявления цены.

Он сказал это прежде, чем успел испугаться. Лоутон покраснел ещё сильнее; Джордж увидел, как его рука сжалась. Удар мог прийтись в лицо, в живот, куда угодно. Он приготовился не отступать — не потому, что был храбр, а потому, что знал: отступив сейчас, он будет отступать каждый день.

Но один из старших, широкоплечий Флетчер, рассмеялся с соседней кровати.

— Оставь его, Лоутон. Он ещё не распаковал ботинки, а уже пишет завещание.

Смех прокатился по спальне. На этот раз он был не совсем против Джорджа. Это было мало, но достаточно, чтобы Лоутон отпустил его плечо, которого ещё не коснулся.

— Посмотрим, долго ли будет острым язык, — бросил он и ушёл.

Джордж сел на кровать. Сердце ударяло в рёбра так громко, будто всё помещение должно было это слышать. Он медленно развязал чемодан. Сверху лежали две рубашки, Библия с именем матери на форзаце и серебряная коробочка с пастилками от кашля. Он не стал открывать её. В самом низу нашёлся маленький складной нож — старый, с костяной рукоятью. Он не помнил, как тот там оказался. Может быть, мать положила. Может быть, он сам, ещё в Абердине, забыл его среди белья. Он провёл большим пальцем по тупому лезвию и спрятал нож под матрас.

Ночью никто не плакал, хотя Джордж сначала решил, что слышал чей-то всхлип. Оказалось — ветер протискивался в щель под рамой. В темноте мальчики дышали, переворачивались, шептались. Кто-то рассказывал грязную историю; кто-то ругался во сне. Джордж лежал, не снимая одного чулка: нога после дороги ныла, а показать её в общей умывальне казалось почти равным раздеванию на рыночной площади.

— Ты не уснёшь, — сказал голос.

Он не вскрикнул. За несколько лет он научился не вскрикивать ни от боли, ни от неожиданности. Он повернул голову.

На перилах у лестницы сидел мальчик его возраста. Ноги в серых чулках свободно качались над ступенями — прямые, сильные, невинные. Лицо было знакомым не до сходства, а до раздражения: таким он мог бы быть, если бы жизнь не начала поправлять его слишком рано.

— Уходи, — прошептал Джордж.

— Куда? Это твоя спальня.

— Ты мне снишься.

— Тогда не спи.

Джордж натянул одеяло до подбородка.

— Чего ты хочешь?

— Того же, чего хочешь ты. Чтобы завтра они не увидели, как тебе страшно.

— Мне не страшно.

Мальчик наклонил голову.

— Тебе страшно не то, что побьют. Это можно пережить. Тебе страшно, что увидят: ты и так знаешь каждое их слово до того, как они его скажут.

Джордж отвернулся к стене. Штукатурка была холодной и шершавой у щеки.

— Ты можешь драться, — продолжил голос. — Но проиграешь. Ты можешь бежать — но уйдёшь. Или ты можешь заставить их забыть.

— Как?

— Стань опасным. Не силой. Словом.

Наутро его разбудил колокол. Вода в медном тазу была такой холодной, что пальцы свело, а слугитель, проходя между кроватями, стучал тростью по рамам. Джордж оделся быстро и неловко, скрывая ногу за краем постели, пока натягивал башмак. Ботинок был сделан по мерке, с грубой кожаной накладкой, и всё же казался ему чужой хитростью, которую видит каждый.

В часовне пахло мокрыми плащами и пылью. Мальчики стояли рядами; старшие впереди, младшие сзади. Они пели псалом, и голоса, ломкие или уже грубые, смешивались под деревянным потолком. Джордж не знал слов до конца и открывал рот наугад. Флетчер, стоявший рядом, заметил это и тихо фыркнул.

После службы начались занятия. Мистер Друри был сухим человеком с высоким лбом и неподвижными бакенбардами. Он спросил новенького о Горации. Джордж поднялся; нога отозвалась знакомой тяжестью, но он заставил себя не переносить вес слишком явно.

— *Exegi monumentum aere perennius*, — начал он.

— Переведите, — сказал Друри.

— «Я воздвиг памятник долговечнее бронзы».

— И что этим хотел сказать поэт?

В классе зашуршали перья. Лоутон сидел у окна и смотрел не на доску, а на его ступню, выставленную чуть вперёд.

— Что бронза зависит от того, кто её чистит, — ответил Джордж. — А дурное стихотворение переживает даже хорошего человека.

Кто-то засмеялся. Друри не улыбнулся, но взгляд его сделался внимательнее.

— В вашем возрасте, Байрон, обычно начинают с уважения к тексту.

— Я уважал бы его больше, сэр, если бы он не требовал уважения сам.

Тишина была такой плотной, что Джордж услышал, как в камине осыпался уголёк. Он ждал наказания. Вместо этого Друри постучал указкой по книге.

— Садитесь. И постарайтесь, чтобы ваша дерзость однажды совпала с точностью.

Это не было похвалой. Но было разрешением дышать.

В Харроу всё имело свой ритуал, даже жестокость. Старшие не били младших на виду у учителей; они выбирали час после ужина, когда в коридорах темно и запах тушёной бара-

нины смешивался с горелым салом свечей. Они заставляли приносить из лавки табак, переписывать упражнения, чистить сапоги. Иногда это называлось службой, иногда — шуткой. Джордж быстро понял, что спорить с приказом бессмысленно, но можно изменить его цену.

Когда Лоутон однажды велел ему сбежать за элями в трактир у подножия холма, Джордж посмотрел на две тяжёлые кружки и на грязь, через которую придётся идти.

— Я отнесу, — сказал он. — Но если пролью, вы объясните трактирщику, что это ваше распоряжение. Он считает ваш счёт лучше моей латыни.

— Ты меня шантажируешь?

— Нет. Я берегу вашу репутацию.

Лоутон ударил его ладонью по затылку. Не сильно. Джордж качнулся, но удержался. Потом взял кружки и пошёл. На обратном пути он споткнулся у ворот, эль выплеснулся ему на рукав. Двое мальчишек, пробегая мимо, засмеялись. Джордж не стал догонять их. Он опустил кружки на камень, дождался, пока они обернутся, и крикнул:

— Не торопитесь. Если вы так бегаете от книг, вас скоро поставят сторожами на беговой дорожке.

Один показал ему кулак, другой ответил грубостью, но смех прекратился. Он донёс почти полные кружки. Лоутон хотел снова ударить, однако Флетчер сказал:

— Довольно. У него язык дороже твоего эля.

Так образовалось его первое место в школе — не за столом, не в игре, не среди лучших учеников, а в узкой полосе между презрением и интересом. Он был тем, кого можно толкнуть, но нельзя предсказать. На второй неделе на стене уборной появилась эпиграмма про Лоутона и его бесконечно блестящие сапоги. Написана она была углём крупно, с ошибкой, нарочно простой, чтобы не походить на почерк Байрона. Но рифма выдавала его; и к полудню каждый в спальне уже знал автора.

Лоутон нашёл его за библиотекой.

— Ты думаешь, умнее всех?

— Нет. Я думаю, вы слишком часто думаете о своих сапогах.

Удар пришёлся в плечо. Джордж ответил сразу, без расчёта. Его кулак задел Лоутона по губе, тот схватил его за ворот и толкнул к стене. Камень стукнул по затылку; перед глазами на миг побелело. Он почувствовал, как больная нога подворачивается, как тело предаёт его именно тогда, когда требовалось стать простым, быстрым, одинаковым с другими.

Лоутон замахнулся. Джордж вцепился зубами в его руку. Вкус шерсти, кожи и крови наполнил рот. Лоутон завопил, вырвался, выругался так громко, что из-за угла выбежал учитель.

Их поставили врозь, обоих оставили после уроков. Лоутон получил шесть ударов тростью; Джордж — четыре, потому что был младше, но «поступил недостойно будущего джентльмена». После каждого удара он считал про себя: один — Абердин; два — мать; три — камни на улице; четыре — не плакать. Он не плакал. Когда всё кончилось, ладони дрожали, но не от боли.

Вечером Лоутон прошёл мимо его кровати с повязкой на кисти.

— Ты животное, Байрон.

— Зато вы теперь будете знать, где не гладить.

Лоутон ничего не ответил. Но больше не велел ему носить эль.

Шли месяцы. Джордж научился бросать реплики так, чтобы учитель слышал в них ум, а мальчишки — угрозу. Он стал читать больше, чем требовали: не потому, что любил послушание, а потому, что книга давала ему оружие без рукояти. Он произносил латынь так, чтобы она звучала как оскорбление, и писал на стенах анонимные стихи, острые, как бритва. Анонимность в Харроу была роскошью; он отказался от неё, как от слишком дешёвой защиты. Ему хотелось, чтобы знали.

Иногда он выигрывал. Иногда его били. В школьной игре на холме он однажды упал так неудачно, что несколько минут не мог подняться. Кто-то крикнул: «Оставьте лорда, он сломает вторую ногу!» Смех полоснул его по лицу. Он всё-таки поднялся и, не глядя на шутника, сказал капитану команды:

— Поставьте его в ворота. Там ему не придётся думать.

Капитан расхохотался. Шутник покраснел. Джордж не почувствовал победы; только облегчение, как после того, как успел закрыть дверь перед ветром.

Однажды вечером он увидел себя в тусклом зеркале общей спальни. Длинные волосы падали на лоб и скрывали ухо, ещё красное после случайного удара мячом. Глаза научились смеяться раньше, чем губы. Он был красив — это он обнаружил не сам, а по шёпоту младших, когда те думали, что он не слышит. Красив и хром. Сочетание вызывало не отвращение, а ту щемящую жалость, которую он ненавидел сильнее насмешки. Жалость ставила человека выше, делала его добродетельным свидетелем твоего несчастья.

— Ты создал себя, — сказала Тень.

Он стоял у умывальника, а она сидела на краю соседней кровати. На ней были мальчишеские брюки, коротко стриженные волосы открывали тонкую шею. Лицо походило на его лицо, но было мягче, как будто оно ещё не решило, что красота должна быть оружием.

— Из глины, которую они считали бесполезной, — добавила она.

— Я создал маску.

— Маска — это тоже лицо, если её не снимать.

— Тогда она станет лицом лучше моего.

Тень посмотрела на его отражение.

— Лучше — нет. Удобнее для тех, кто боится заглянуть под неё.

Джордж провёл пальцем по стеклу. Отражение дрогнуло, раздвоилось на миг.

— Если я сниму её, они снова будут смеяться.

— Возможно.

— Значит, не сниму.

— Ты не должен снимать её для них. Но однажды забудешь, что она есть, — и попробуешь любить через неё. Вот тогда она станет тяжелее доспеха.

Он отвернулся. Слово «любить» в этой комнате казалось непристойным, почти смешным. Здесь знали дружбу, союз, верность команде, тайный сговор против старших. Но любовь была тем, что мать превращала в клятву и угрозу, а он предпочитал не называть.

Перед сном он достал тетрадь, которую прятал между матрасом и рейкой кровати. Написал медленно, потому что после вечерней драки распухли пальцы.

«Я понял в Харроу, что власть — не в том, чтобы быть сильным. Власть — в том, чтобы быть непредсказуемым. Если они не знают, засмеешься ли ты или ударишь — они боятся. А страх почти что уважение.»

Глава 7 Проснуться знаменитым

Лондон. Март 1812.

Лондон просыпался грязно и шумно. Утренний туман не уходил с улиц, а только менял цвет: от жёлтого над Темзой до бурого у домов на Сент-Джеймс-стрит. Под окнами Байрона стучали копыта, кричали разносчики, колёса экипажей дробили воду в колеях. Он лежал в постели, не раздвигая тяжёлых занавесей, и слушал, как камердинер спорит с кем-то в передней.

— Я сказал: милорд ещё не принимает, — повторял камердинер.

— А я сказал: записка от леди Каролины не может ждать, — отвечал женский голос с тем особым раздражением, которое имеют служанки, посланные важными женщинами.

На столике у кровати уже лежали три визитные карточки, два письма с гербовыми печатями и свежий номер газеты. На первой странице не было его имени; оно таилось внизу, среди объявлений о балах и распродажах, однако он чувствовал его даже с закрытыми глазами. «Чайльд-Гарольд» вышел всего несколько недель назад, и за это время Лондон успел прочесть, пересказать, исказить и присвоить его поэму. Он ещё не решил, смешно ему или страшно.

— Впустите, — сказал он.

Камердинер появился в дверях с лицом человека, которому приказали держать крышку на кипящем чайнике.

— Милорд, там миссис Уильямс, горничная леди Каролины. И мистер Хобхаус ждёт в гостиной. И курьер от Мюррея.

— Мюррея первым. Он хотя бы приносит деньги, а не головную боль.

— В этом я бы не поручился, милорд.

— Тогда он мне особенно подходит.

Он сел. Нога, долго остававшаяся без движения, встретила утро упрямой болью. Байрон поморщился и потянулся за халатом, но камердинер уже подавал ему тёмно-синий шерстяной. На столе стояли чашка крепкого чая, подсохший тост и блюдо с уксусом — средство, которым он иногда пытался усмирять головную боль после вина. Он выпил чай, не чувствуя вкуса.

Мюррей вошёл без своей обычной издательской учтивости. Щёки у него были красны от быстрой ходьбы, под мышкой он держал пачку бумаг, а на лице сочетались торжество и тревога, как у человека, выигравшего в лотерею и тут же вспомнившего о налогах.

— Милорд, — начал он, — я пришёл не тревожить вас, но...

— Вы пришли именно тревожить меня. Садитесь и сообщите размер бедствия.

Мюррей сел на край кресла, словно боялся испачкать успехом обивку.

— Книготорговцы требуют второй выпуск. Некоторые — третий, заранее. Вчера в магазине на Флит-стрит спрашивали вашу поэму так, будто это лекарство от чумы. Спросили даже из Эдинбурга.

— В Эдинбурге читают? Я был уверен, что там только судят и проповедуют.

Мюррей позволил себе короткую улыбку.

— Они читают вас, милорд. И говорят о вас. Вчера один молодой офицер купил три экземпляра — для матери, невесты и...

— Для любовницы. Не берегите меня от последнего слова, Мюррей.

— Для женщины, которой он не назвал. Суть не в этом. Вы должны понимать: это не обычный успех.

Байрон посмотрел на пачку писем.

— А какой же?

— Такой, который случается редко. Люди считают, что знают вас, потому что узнали его.

Он произнёс «его» с осторожностью. Чайльд-Гарольд уже вышел из книги и стоял где-то в городе — высокий, печальный, красивый, с неизлечимой тоской на лице. Байрон вдруг почувствовал к нему неприязнь. Он помнил, как сидел над строками, как выбирал рифмы, как переделывал целые строфы. А теперь персонаж получил больше плоти, чем его автор.

— Они знают плащ и усталость, — сказал он. — Для Лондона этого довольно.

— Лондон не любит, когда его презирают, — возразил Мюррей. — Но любит, когда презирающий делает это красиво.

— Стало быть, я нашёл надёжную профессию.

Мюррей выложил на стол несколько карточек.

— Леди Мельбурн ожидает вас сегодня вечером. Леди Холланд — завтра. Лорд Грей спрашивал, будете ли вы в палате. А вот это... — он поднял листок с розовой каймой, — от молодой леди, которая утверждает, что умрёт, если вы не ответите.

— Пусть напишет завещание. Это полезнее ответа.

— Милорд.

— Простите. Я ещё не привык, что чужие смерти должны льстить мне.

После ухода Мюррея он долго сидел, разглядывая пол. В тёмном лаке отражалась его ступня, чуть повернутая внутрь. Всё было на месте: нога, боль, утренняя тошнота, неразобранные счета. Слава не изменила ни одной из этих вещей. Она только привела к двери больше свидетелей.

Хобхаус ждал у камина и листал газету. Он поднял голову, когда Байрон вошёл, уже одетый: тёмный сюртук, светлый жилет, безукоризненно завязанный галстук. Передвигался Байрон осторожно, но с тем медленным достоинством, которое научился выдавать за выбор, а не необходимость.

— Вот он, — сказал Хобхаус. — Человек, который проснулся знаменитым.

— Я проснулся от боли в ноге и крика торговца устрицами. Если это слава, она очень плохо воспитана.

— Вчера у Уайтса о тебе говорили больше, чем о войне и принце-регенте. Один старик утверждал, что ты испортил английских девушек. Другой — что спас английскую поэзию. Ты умудрился обидеть обоих.

— Тогда день прошёл не зря.

Хобхаус налил ему вина. Байрон взял бокал, но не пил.

— Ты рад? — спросил друг.

Вопрос повис между ними. За окном стукнул экипаж, и капли с карниза упали на мостовую.

— Я рад, что меня читают, — ответил Байрон. — Это не то же самое.

— А что же?

— Когда тебя читают, люди входят в комнату, которую ты для них построил. Когда тебя знают... они решают, что построили комнату сами и могут переставить там мебель.

Хобхаус посмотрел на него с тем усталым терпением, которое появлялось у друзей Байрона, когда тот слишком ловко превращал простое чувство в эпиграмму.

— Вечером не убегай слишком рано. Леди Мельбурн обидится.

— Я не убегаю. Я оставляю людям возможность скучать.

— Это одно и то же, только в твоём переводе.

К вечеру город преобразился. Дождь прекратился, и фонари в стеклянных коробах зажглись один за другим, отражаясь в мокрой мостовой. Экипаж Байрона катился к дому леди Мельбурн между каретами, в которых сидели женщины в светлых платьях, закутанные в меха. Сквозь приоткрытые окна доносился шёлк, смех, запах духов и разогретых лошадей.

Перед зеркалом в передней он поправил перчатку. Камердинер держал для него плащ — ещё не тот знаменитый чёрный доспех, но тёмный и широкий, с воротником, который можно было поднять против ветра и взглядов.

— Милорд, — тихо сказал камердинер, — вы прекрасно выглядите.

— Это значит, что я выгляжу незнакомо самому себе.

— Это значит, что на вас будут смотреть.

— В этом и состоит опасность.

Дом леди Мельбурн был залит светом. Лакей объявил его имя, и шёпот, как оказалось, действительно мог замереть. Не весь, не сразу — он затухал от дальних комнат к ближним, пока не осталась только музыка, которую кто-то небрежно играл на фортепьяно. Байрон вошёл в салон и увидел десятки лиц, обращённых к нему с одинаковым изяществом разной степени.

Женщины смотрели на него так, как не смотрят на мужчин: с жадным любопытством, с каким смотрят на диких зверей в клетке, которую можно открыть. Мужчины смотрели с завистью, отведённой в бокал шампанского. На дамах были высокие талии, лёгкие муслиновые платья, шали, сползавшие с плеч ровно настолько, чтобы каждое движение казалось слу-

чайностью. У мужчин блестели белые галстуки и гладкие сапоги. Все они знали правила этой комнаты; и все на миг забыли их ради него.

Леди Мельбурн подошла первой. Она была в сером шёлке, с веером из слоновой кости и внимательными глазами женщины, которой скука давала больше власти, чем красота.

— Милорд Байрон, — сказала она. — Лондон решил, что вы должны отвечать за его бессонницу.

— Тогда Лондон слишком легко засыпает, миледи.

— Он также решил, что вы опасны.

— Лондон любит давать это имя вещам, которые ему хочется потрогать.

Она засмеялась не громко, но одобрительно.

— Хорошо. Не разочаровывайте его до ужина.

Она подвела его к кругу гостей. Леди Холланд, сидевшая у дивана, подняла веер и опустила его. Это движение было столь кратким, что можно было бы принять его за обмахивание, если бы Байрон не видел, как за веером дрогнули её губы.

— Вот наш паломник, — сказала она. — Скажите, милорд, Чайльд-Гарольд столь же мрачен за ужином, как на страницах?

— Он слишком занят собой, чтобы ужинать, миледи.

— А вы?

— Я слишком беден, чтобы отказаться.

Смех прошёл по кругу. Кто-то протянул ему бокал. Кто-то спросил о Греции, будто он только что вернулся оттуда, а не много месяцев назад. Молодая женщина в белом сказала, что знала каждую строфу наизусть. Пожилой лорд поинтересовался, не считает ли Байрон опасной эту «меланхолию», которую распространяет среди молодых людей. Байрон отвечал. Он отвечал легко, точно, остро. Каждая фраза выходила в зал раньше, чем он успевал почувствовать, что думает.

У двери стоял лакей с подносом. Лицо его было обычным, обветренным, волосы светлыми. Но когда он наклонился, подавая шампанское, Байрон увидел знакомые глаза.

— Они хотят тебя, — сказал Тень почти беззвучно. — Но не тебя. Героя. Изгнанника. Того, кто смотрит на мир с высоты презрения.

Байрон взял бокал.

— Я и есть этот герой.

— Ты — мальчик из Абердина, который боится, что его ногу заметят под чулком. А они видят плащ.

Он хотел ответить, но рядом уже стояла леди Каролина Лэм. Она была меньше, чем казалась по слухам, и живее, чем позволяли её манеры. Тёмные кудри касались висков; глаза улыбались прежде, чем она произнесла слово.

— Я ждала, когда вы начнёте быть невыносимым, — сказала она.

— Я боялся прийти раньше приглашения.

— Это самая унылая ваша фраза. Я ожидала большего.

— Тогда мне придётся исправиться.

— Нет, — быстро сказала она. — Не исправляйтесь. Это бывает так утомительно — когда люди становятся лучше именно в тот миг, когда ты надеялась на худшее.

Он посмотрел на неё. В этой женщине было что-то от его матери — не сходство, которое можно объяснить чертами, а обещание бури. Он почувствовал привычное напряжение: желание приблизиться и одновременно поставить между ними стену из слов.

— Вы надеетесь на худшее от всех мужчин?

— Только от тех, чьи книги я читаю ночью.

— Это опасный способ выбирать общество.

— Я не ищу общества, милорд.

Она ушла прежде, чем он нашёл продолжение. Вскоре его окружили другие. Один просил автограф, другой — прочесть строфу, третья коснулась его рукава, будто проверяла, настоящая ли ткань. Он двигался от группы к группе, и чем больше его хвалили, тем точнее работала улыбка. Она срабатывала — он видел, как леди Холланд снова подняла веер; как молодая девушка возле окна покраснела; как мужчины делали вид, что не слушают.

В какой-то миг он заметил, что стоит слишком долго, перенес вес на здоровую ногу. Боль пробежала по бедру. Он сел, устроив плащ так, чтобы складки скрыли башмак. Женщина рядом немедленно наклонилась к нему.

— Вы устали, милорд?

— От восхищения? Оно удивительно изнуряет.

Она засмеялась, удовлетворённая тем, что получила реплику. Он не сказал ей, что устал не от неё, не от света, не от собственного имени. Он устал от необходимости каждый миг держать тело в такой форме, чтобы ему простили присутствие.

Когда он вышел, было уже за полночь. Дом за спиной ещё гудел голосами. На ступенях пахло дождём, мокрой кожей и лошадиным потом. Он сел в экипаж, захлопнул дверцу и впервые за вечер позволил лицу опустеть.

Тень сидел напротив, всё ещё в ливрее. Поднос исчез; на его коленях лежала газета с рецензией.

— Ты хорошо играл, — сказал он.

— Я не играл.

— Конечно. Ты просто выжил.

Экипаж тронулся. За окном плыли тёмные фасады, огни, поздние прохожие. Байрон отпил шампанского, которое успел прихватить из салона. Оно было тёплым и безвкусным.

— Я пил их внимание, как ром, — сказал он, глядя на собственное отражение в стекле. — И тошнило, как от рома. Но отказаться — значило вернуться к тишине Абердина, где единственный, кто смотрел на меня, кричал.

Тень ничего не ответил. Он смотрел туда же, в окно, где отражались два лица: одно — знаменитое, другое — ещё не научившееся скрывать страх.

Он ещё долго не поднимался к себе. Сидел в карете у закрытого дома, пока кучер кашлял на козлах и ждал распоряжения. Из темноты доносился смех двух женщин; затем хлопнула дверь, и смех оборвался. Байрон подумал, что вся слава похожа на этот звук: кто-то слышит её с улицы и готов отдать многое, чтобы оказаться внутри, а тот, кто уже внутри, слышит только, как за ним закрывают дверь. Он велел ехать, но путь до дома показался ему короче обычного, как будто Лондон, на минуту получив желаемое, тут же перестал иметь к нему дело.

Утром Байрон открыл тетрадь и, не снимая дорожных перчаток, написал:

«Я пил их внимание, как ром. И тошнило, как от рома. Но отказаться — значило вернуться к тишине Абердина, где единственный, кто смотрел на меня, кричал.»

Глава 8 Человек в плаще

Лондон. 1813.

К полудню в гардеробной было темно, хотя за окнами стоял ясный мартовский день. Свет не доходил сюда сквозь плотные занавеси и высокие шкафы; он ложился на пол узкими полосами, в которых кружилась пыль. На столе лежали перчатки, шпоры, стопка белоснежных галстуков и раскрытая коробка с новыми башмаками. В центре комнаты, на манекене, висел плащ.

Байрон смотрел на него с серьёзностью человека, выбирающего не одежду, а способ исчезнуть.

Плащ был чёрный, тяжёлый, из хорошей шерсти, с широкими полами и отложным воротником. Подкладка отливала тусклым серым шёлком. Если взять ткань пальцами, она казалась почти живой — послушно шла за рукой и тут же возвращалась на место. Он обошёл манекен, посмотрел, как складки падают с плеч, как сзади они будут колыхаться при ходьбе, отвлекая чужой взгляд от неровного шага.

— Слишком мрачно для утра? — спросил он.

Портной, маленький сухой француз по имени Ламбер, улыбнулся профессионально.

— Милорд, для вас это не мрачно. Для вас это... характер.

— Характер продаётся на ярды?

— Если он хорошо скроен — непременно.

В дверях послышался лёгкий смех. На коробке с башмаками сидел мальчик лет двенадцати, в слишком большом чёрном сюртуке. Носки его ботинок не доставали до пола. Ламбер не обернулся; слуги и портные редко замечали Тень, как редко замечают трещину в зеркале, пока она не перережет отражение надвое.

— Ты стал товаром, — сказал мальчик.

Байрон взял плащ с плечиков.

— Стало быть, я наконец-то плачу за себя сам.

— «Байронический герой». Мюррей считает тиражи. Модельеры копируют воротник. Женщины мечтают о тебе, потому что ты безопасен — ты на бумаге, даже когда стоишь перед ними.

Ламбер подошёл с булавками.

— Милорд, позвольте.

Плащ лёг на его плечи. Вес оказался приятным. Воротник поднялся вдоль шеи, почти касаясь скул. В зеркале напротив возник человек выше, тоньше, строже, чем был он сам. Тень от воротника падала на щеку; хромота, если смотреть неподвижно, исчезала вовсе.

— Я безопасен? — спросил Байрон.

— Для них — да. Потому что они не знают, что ты просыпаешься ночью и проверяешь, есть ли нога. Потому что они не видят, как ты пьёшь, чтобы забыть, что нога есть. Они видят плащ.

Байрон не сразу ответил. Ламбер возился с застёжкой, щёлкал языком и просил его повернуться. Нога отозвалась, когда пришлось перенести на неё вес; он почувствовал привычный стыд — не перед портным, который видел только заказ и его деньги, а перед отражением. Тело выдавало его там, где лицо уже научилось молчать.

— Он делает меня прекрасным, — сказал он наконец.

— Нет, — тихо ответил Тень. — Ты делаешь его прекрасным. В этом и ловушка.

Ламбер отступил на шаг.

— Сидит безупречно, милорд. Я бы добавил только узкую тесьму изнутри воротника. Её никто не увидит, но вы почувствуете разницу.

— Всё, чего никто не видит, стоит дороже, — сказал Байрон.

Портной расцвёл, решив, что услышал комплимент ремеслу. Байрон снял плащ, но ткань ещё хранила тепло его плеч. Он вспомнил старую шотландскую одежду, которую мать заставляла перешивать так, чтобы складка брюк падала ровно. Тогда он считал это заботой о приличии. Теперь понимал: она учила его строить фасад раньше, чем он узнал цену дому.

В соседней комнате камердинер разбирал утреннюю почту. От Мюррея пришли корректуры. От Хобхауса — приглашение в клуб и приписка: «Пожалуйста, не стань собственным памятником прежде тридцати». От леди Каролины — маленькая записка, сложенная вдвое, без подписи. Внутри было всего одно: «Сегодня вы должны быть у меня. Я хочу узнать, существует ли человек под тёмным сукном».

Он перечитал записку. Слова были написаны быстрым наклонным почерком, уверенным и нервным одновременно. Бумага пахла ирисом.

- Не ходи, — сказал Тень.
- Ты плохо знаешь светские обязанности.
- Я знаю ловушки. Они пахнут лучше капканов.
- А если не ходить, она будет думать, что я боюсь.
- Ты боишься.
- Именно поэтому я пойду.

К вечеру плащ был готов. Ламбер прислал его в длинной коробке, уложив между листами тонкой бумаги. Байрон надел его перед зеркалом, застегнул одну застёжку у горла и медленно повернулся. Чёрная ткань скрыла линию бёдер, неровность шага, худые колени. Она придала его молчанию форму.

На улице уже зажгли газовые фонари. Экипаж ждал у крыльца; кучер, нахохлившись, держал вожжи, а два мальчишки-газетчика выкрикивали заголовки о войне и новых парламентских речах. Один заметил Байрона и толкнул другого локтем.

- Это он, — услышал Байрон. — Поэт.

Мальчик не назвал имени, но оно уже висело над ним, как табличка над дверью лавки. Байрон сел в карету, не глядя назад. Внутри пахло кожей, холодным металлом и остатками духов предыдущей пассажирки.

Дом леди Каролины был ярче, чем салон Мельбурн, и беспорядочнее. В передней лежали перчатки, книги и чей-то веер; из комнат лилась музыка, но никто не слушал её целиком. Гости переходили от группы к группе с той быстрой, слегка безумной живостью, которая бывает там, где хозяева приняли решение не скучать любой ценой.

Леди Каролина встретила его на лестнице. На ней было платье цвета зимнего неба, слишком простое для остальных, и тонкая золотая цепочка на шее. Она не сказала «милорд», не поклонилась и не сделала вид, что удивлена его приходом.

- Вы всё-таки существуете, — сказала она.
- Меня в этом уверяли с утра.
- Кто?
- Издатель. Он показал мне счета.

Она посмотрела на плащ.

- А это что? Похоронное платье для живого человека?
- Предосторожность.
- От чего?
- От чрезмерной близости.

— Тогда вы опоздали. Близость всегда начинается с того, что человек объясняет, как от неё защищается.

Он усмехнулся, но она не улыбнулась в ответ. В её взгляде была слишком прямая внимательность. Байрон почувствовал раздражение — и тягу, как всегда, когда кто-то слишком быстро приближался к тому, что он хотел скрыть.

Она провела его в маленькую гостиную, где у камина сидели двое молодых людей и спорили о Наполеоне. На столике остывал пунш. Леди Каролина села на низкую софу, подтянула ноги под юбку с небрежностью, которую другим женщинам не прощали.

— Они хотят вашего мрака, — сказала она, кивнув на соседнюю комнату. — Я хочу знать, не скучно ли вам внутри него.

- Очень. Но скука — верная служанка. Она не задаёт вопросов.
- А вы отвечаете на вопросы только шутками?
- Обычно. Шутки дают человеку время уйти.
- Не уходите сегодня.

Он хотел произнести что-то лёгкое, но в этот миг из соседней комнаты донёсся смех. Кто-то читал вслух строку из «Гяура», придавая ей чужое, слащавое страдание. Гости зааплодировали. Байрон почувствовал, как под плащом напряглись плечи.

— Вот видите, — сказал он. — Они уже делают из меня чучело. Только набьют не соломой, а цитатами.

— Вы сами дали им иглу.

— И кто не даёт? Мы все хотим, чтобы нас увидели.

— Нет, — сказала она. — Некоторые хотят, чтобы их любили. Это гораздо опаснее.

Он встал. Нога заболела от долгого сидения, и он спрятал гримасу, сделав вид, что поправляет манжет. Леди Каролина смотрела, не отводя глаз. Он понял, что она заметила. Не саму ногу — его усилие сделать её несуществующей.

— Мне пора, — сказал он.

— Вы только пришли.

— Тем разумнее уйти до того, как начнётся обычная история.

— Какая?

— Та, в которой женщина решает, что может спасти поэта, а поэт решает, что спасение — это оскорбление.

— А если никто не хочет вас спасать?

Он застегнул плащ до самого горла.

— Тогда, боюсь, придётся начать говорить правду.

Он ушёл, оставив её сидеть у огня. На лестнице ему показалось, что она позвала его, но он не обернулся. Самым лёгким способом не услышать просьбу было заранее придать ей вид каприза.

У Уайтса было жарко, накурено и тесно. Хобхаус ждал за столом с картами; рядом стояли бокалы, лежали монеты и ленты ставок. Мужчины приветствовали Байрона с таким видом, словно его появление подтвердило правильность их разговора.

— Вот наш литературный султан, — сказал один.

— Осторожнее, — ответил Байрон. — Султаны не любят, когда их подданные говорят громко.

Они засмеялись. Карты пошли по кругу. Он проиграл небольшую сумму, потом выиграл больше, чем хотел. Удача не радовала. В этих комнатах деньги текли как вино: быстро, с шумом, без памяти о том, кто налил первый бокал. Один молодой лорд попросил показать ему «тот самый» плащ. Другой спросил, правда ли, что Байрон спит с пистолетом под подушкой. Третий произнёс, что все женщины в Лондоне теперь хотят мужчину с печальными глазами.

— Тогда им следует искать мужчину без глаз, — сказал Байрон. — Он хотя бы не заметит, как они разочарованы.

Смех опять избавил его от ответа. Он пил бренди медленно, но рюмки всё равно пустели. К полуночи комната поплыла мягче. Плащ висел на спинке стула, чёрный, безучастный, готовый снова сделать его тем, кого ждут увидеть.

После игры он не сразу ушёл. На улицу вышел один из тех молодых лордов, что весь вечер расспрашивал о пистолете под подушкой, и предложил проводить его до экипажа. Байрон отказался. Тогда юноша, уже храбрый от бренди, признался, что пробовал писать стихи «в вашем роде».

— В моём роде? — переспросил Байрон.

— Мрачные. О несчастной любви. О том, что никто не понимает.

— Это самый распространённый род, — сказал Байрон. — Его пишут все, кому ещё не дали повода стать весёлыми.

Юноша побледнел, потом неловко рассмеялся. Байрон увидел, как легко может ранить; увидел и то, что ранит не от силы, а от привычки. Он мог бы спросить имя, прочесть стихи, сказать что-нибудь неуязвимое. Вместо этого накинул плащ и вышел под дождь.

На ступенях стоял разносчик с листками дешёвых баллад. Ветер прижал один листок к решётке. На нём было напечатано крупно: «Новая песнь лорда Байрона». Под заголовком шли чужие, бездарные строки. Он поднял листок, прочёл две строфы и отдал обратно.

— Хорошо продаётся? — спросил он.

— Когда имя громкое — всё продаётся, милорд, — ответил мальчишка и тут же понял, что узнал его. — Простите, сэр.

Байрон бросил ему монету. Мальчик поклонился так низко, будто перед ним стояла сама поэзия. Байрон отвернулся прежде, чем мальчик успел увидеть выражение его лица.

У кареты его ожидал камердинер с вопросом, не желает ли милорд ехать к леди Каролине: оттуда только что прислали второго слугу. Байрон посмотрел на тёмные окна дома и велел ехать домой. Камердинер не удивился, но на лице у него мелькнуло облегчение. Он служил Байрону достаточно давно, чтобы знать: ночи, обещающие приключение, почти всегда заканчивались для хозяина ещё одной причиной ненавидеть утро.

В экипаже Байрон держал ладонь на застёжке плаща. Ткань была холодной. Он подумал, что этот плащ умеет лучше него самого: не обещает, не спорит, ничего не требует. Его можно снять, когда захочется, и надеть вновь, не спрашивая прощения. От этой мысли вдруг стало так одиноко, что он опустил руку и велел кучеру ехать быстрее.

Домой он вернулся один. Камердинер хотел помочь снять плащ, но Байрон отослал его. В гардеробной горела одна свеча. Он встал перед зеркалом, расстегнул воротник, позволил ткани соскользнуть на пол.

Без неё отражение стало меньше. Не уродливее — он никогда не мог честно назвать себя уродливым, и потому вина за недовольство телом казалась ещё гаже. Просто меньше. Человек в рубашке, с усталым лицом и ногой, которую нельзя было уговорить стать прямой.

Тень сидел на коробке с башмаками, как утром. Теперь он был старше — в лице уже появилась та резкость, которую Байрон узнавал в себе после бессонной ночи.

— Ты создал себя, как Франкенштейн создал своё чудовище, — сказал Байрон.

— Мэри ещё не написала его, — заметил Тень.

— Значит, она напишет. Такие вещи всегда пишут после того, как их проживут.

Он поднял плащ и прижал ткань к щеке. Она пахла улицей, табаком, чужими духами.

— Но чудовище хотело любви, — продолжил он. — А я — только страха. Или зависти. Или обожания. Всё, кроме того, что было за плащом.

Тень не стал утешать его. Он только прыгнул с коробки и подошёл к зеркалу.

— Ты хочешь не страха, — сказал он. — Ты хочешь, чтобы тебя нельзя было оставить. Но страх держит людей лишь до первой двери. А за дверью остаётся тот, кто его придумал.

На полу у его ног лежал плащ, чёрный и терпеливый, словно уже знал, что утром его опять позовут на службу.

Байрон закрыл глаза. Из передней доносился звон часов. Он поднял плащ, аккуратно повесил его на спинку кресла и открыл тетрадь.

«Я создал себя, как Франкенштейн создал своё чудовище. Но чудовище хотело любви. А я — только страха. Или зависти. Или обожания. Всё, кроме того, что было за плащом.»

Глава 9 Ночь чудовищ

Вилла Диодати. Июнь 1816.

Дождь начался ещё до ужина и не собирался кончаться. Он шёл по крыше Виллы Диодати тяжёлыми ровными ударами, стекал с балкона в сад и забивал дорожки между кипарисами

до такого состояния, будто озеро поднялось из берегов и решило вернуть себе весь склон. За ставнями вспыхивала белая молния; на мгновение в окнах возникали чёрные ветви, вода и горы, а потом всё снова исчезало в темноте.

Байрон сидел у камина, вытянув больную ногу к огню. Сукно на колене уже успело отсыреть от вечерней прогулки до лодочного сарая, которая закончилась через пять минут: ветер едва не вырвал у него из руки трость, а Клэр, промокшая насквозь, смеялась так, будто дождь был придуман специально для её развлечения. Теперь она устроилась на ковре у дивана, обхватив руками колени, и то и дело поглядывала на Байрона.

Это было утомительнее дождя.

Перси Шелли читал вслух. Он держал перед собой немецкую книгу, взятую у хозяев, и переводил на ходу, иногда останавливаясь, чтобы подобрать английское слово. Его голос был тонким, почти девичьим, но в нём была сила, которой Байрон завидовал: убеждённости, что мир можно изменить словом. Шелли мог произнести «свобода», «дух», «будущее» и сделать так, что даже треск поленьев становился свидетельством в его пользу.

— Нет, не «призрак», — сказал он, нахмурившись над страницей. — Здесь скорее... возвращённый. Тот, кого не пустили в землю.

— В Англии для этого есть слово «родственник», — заметил Байрон.

Клэр засмеялась слишком громко. Шелли поднял на него быстрый взгляд, но улыбнулся.

— Вы решительно не позволите мертвецам сохранить достоинство.

— Живые не сохранили его прежде них.

Мэри сидела у огня в кресле с высокой спинкой. Лицо её освещалось снизу, и от этого казалось маской — молодой, бледной, неподвижной. Она не смеялась. Рядом на столике лежала работа её рук: тонкая белая ткань, игла, клубок ниток. Нитка свисала на пол, будто между нею и темнотой протянулась последняя связь. За последние дни она говорила мало. Байрон видел, как Шелли время от времени смотрит на неё — с тревогой, которую он пытается прикрыть любезностью.

Полидори расположился у буфета и делал вид, что читает медицинский трактат. На самом деле он слушал, сжав губы. Молодой доктор был слишком красив, чтобы быть спокойным, и слишком честолюбив, чтобы не страдать от того, что его называют лишь секретарём Байрона. Рядом с ним стояла почти пустая бутылка вина.

— Вы опять выбрали историю о том, как мёртвый приходит за женщиной, — сказал Полидори. — Немцы не знают иных развлечений?

— Они знают философию, — ответил Шелли. — Но она страшнее.

— Философию легче пережить, — сказал Байрон. — Особенно если не слушать.

Снаружи ударил гром. Клэр вздрогнула, затем немедленно придвинулась ближе к его креслу, словно это движение было вызвано не страхом, а холодом. Её рукав задел его ботинок. Байрон почувствовал раздражение и вину одновременно: её присутствие требовало от него какой-то ясности, а ясность была тем, чего он никогда не обещал.

Шелли дочитал страницу и закрыл книгу.

— Вот вам и вечер, — сказал он. — Мы заперты, мокры, и развлечение наше исчерпано.

— Развлечение не исчерпано, — отозвался Байрон. Он поднялся, опираясь ладонью на подлокотник. Нога отозвалась тупой болью, но он не позволил себе задержаться в этом движении. — Давайте каждый напишет историю привидения. Чтобы развеять эту серость.

Клэр хлопнула в ладоши.

— Да! И мы прочтём их завтра. Перси, ты должен написать о духе, который свергнет королей.

— Дух, который свергнет королей, — это уже политический памфлет, — сказал Байрон. — Мэри напишет о женщине, которая не открыла дверь мёртвому мужу. Полидори — о враче, который оживил пациентку и потребовал счёт за услугу.

— А вы? — спросил Полидори резко.

— Я напишу о человеке, которого нельзя оживить, потому что он и не был жив.

На мгновение в комнате стало тихо. Шелли смотрел на него с мягким недоумением. Мэри подняла глаза от иглы. Байрон пожал плечами, будто всё сказанное было только шуткой, и налил себе вина.

Тень сидел в кресле, где раньше сидел Полидори. Он был похож на Шелли — тонкий, светловолосый, с глазами, в которых отражался огонь. На нём была мокрая рубашка, как будто он только что вошёл с озера.

— Ты боишься, — сказал Тень.

— Чего?

— Что она напишет лучше. Что она создаст чудовище, в котором узнают тебя. И что ты будешь завидовать.

Байрон засмеялся. Смех вышел громким, театральным — для Клэр, для Мэри, для Шелли, который оторвался от книги и улыбнулся, не понимая шутки.

— Я завидую всем, кто делает что-либо лучше меня, — сказал он уже для живых. — Это мой единственный демократический принцип.

Полидори фыркнул.

— Тогда вы должны ненавидеть весь мир.

— Не преувеличивайте, доктор. Мир редко старается.

Разговор распался. Клэр унесла свечу наверх, объявив, что напишет историю о монахине, которую соблазнил дьявол. Полидори пошёл к себе, прихватив бутылку. Шелли задержался у камина, склоняясь к Мэри.

— Тебе холодно?

— Нет.

— Ты ничего не ела.

— Я поем позже.

— Мэри.

Она посмотрела на него, и Байрон отвернулся. В этом взгляде было что-то не предназначенное ему: не театральная страсть Клэр, не светский вызов Лондона, не просьба. Просто усталое доверие двух людей, которым было больно вместе и всё-таки легче, чем порознь. Он почувствовал себя лишним не в комнате, а в целой породе человеческого счастья.

В своей спальне он бросил перчатки на стол, снял мокрый жилет и сел у окна. Ставни дрожали от ветра. Внизу озеро было чёрным, и по его поверхности ползли разорванные полосы молний. Он попытался придумать историю. В памяти всплыли Восток, мечети, кровь на море, пещеры, проклятия, но всё это уже было его собственным товаром — достаточно разлитым по строкам, чтобы читатели узнали вкус.

Он написал несколько предложений о путнике, который встретил на кладбище самого себя. Потом перечитал и разорвал лист. История была мертва ещё до того, как он успел её закончить.

В дверь постучали.

— Войдите.

Это был Полидори. Лицо его горело, глаза блестели. Он держал в руке стакан.

— Вы пишите? — спросил он.

— Пытаюсь.

— Я тоже. Но это нелепость. Мы будем состязаться в страхе, пока мир горит снаружи.

— Мир всегда горит снаружи. Это не повод лишать себя развлечений.

— Для вас всё развлечение.

Полидори сказал это тихо, однако достаточно отчётливо. Байрон посмотрел на него.

— Осторожнее, доктор. Вы пришли лечить мою печень, а не душу.

— Души у вас нет. У вас есть публика.

Пауза стала опасной. Байрон мог унижить его одной фразой — и фраза уже была готова. Он видел её, как нож, лежащий на столе. Но Полидори был пьян, молод, несчастен и слишком узнаваем в своей жажде признания. Ударить его означало ударить то, что он сам носил под плащом.

— Если вы это поняли, — сказал Байрон, — то, возможно, вы всё-таки неплохой врач.

Полидори моргнул, словно ожидал другого исхода.

— Я не хотел...

— Конечно, хотели. Сядьте. Или идите спать. Оба занятия принесут вам больше пользы, чем спор со мной.

Доктор постоял ещё минуту, потом молча ушёл. Байрон снова посмотрел на пустой лист. Откуда-то сверху донёсся быстрый шаг Клэр, затем скрип двери. Он подумал, что для неё вся эта ночь уже имеет форму воспоминания: Байрон, буря, озеро, гении под одной крышей. Он всегда был для других не человеком, а правильно поставленным светом.

Он открыл тетрадь и написал:

«Мэри создаст монстра, который убьёт всё, что любит его создатель. Я создам Дона Жуана, который смеётся над любовью. Мы оба пишем о том, что нельзя коснуться, не обжечься. Но её чудовище будет жалеть. А мой — нет. Потому что жалость — это то, чего я не умею. Или боюсь.»

Он отложил перо. Последняя строка была неправдой или, хуже, удобной полуправдой. Он умел жалеть. Жалел мать в тот миг, когда она просила не бросать её; жалел Клэр, когда слышал её плач за дверью; жалел даже Полидори, пока тот не начинал его раздражать. Но жалость требовала остаться, а он всегда предпочитал уйти прежде, чем она станет обещанием.

Ночью дождь сделался тише. Вилла уснула не сразу: где-то хлопнула ставня, Клэр засмеялась во сне, у Шелли на этаже скрипели половицы. Байрон лежал одетым поверх покрывала и смотрел в потолок. Он знал, что Клэр придёт. Знал это с того дня, когда она появилась в Женеве «случайно», «по воле случая», с тем безупречным видом человека, который заранее придумал объяснение собственному желанию.

Стук был едва слышен.

— Войдите, — сказал он, хотя дверь уже открывалась.

Клэр стояла на пороге с одной свечой. На ней была простая ночная рубашка и тёмная шаль, наброшенная на плечи. Волосы распались, на щеке осталось красное пятно от подушки.

— Я разбудила вас?

— Нет.

— Я думала о вашей истории.

— У меня нет истории.

— У вас всегда есть история.

Она улыбнулась, но глаза не улыбались. Он видел, как ей холодно, как она заставляет себя не просить прямо. В этой нерешительности была честность, которая делала его бессильнее, чем её прежняя настойчивость.

— Клэр, — начал он.

— Не говорите ничего умного, — быстро сказала она. — Пожалуйста. Сегодня не надо.

Он мог бы отказаться. Мог бы открыть перед ней дверь и вернуть в комнату, где ей было бы одиноко, но безопаснее. Мог бы сказать, что это было бы лучше. Вместо этого он протянул руку.

Она подошла. Свеча погасла от сквозняка, и комната стала почти чёрной. Всё произошло без слов, не так, как в его лондонских приключениях, где слова были лестницей, по которой оба знали, куда идут. Здесь была только гроза, тепло чужого тела и усталость, похожая на милосердие.

Когда Клэр уснула, её голова лежала на его плече. Байрон не двигался. Он слышал её дыхание, далёкий удар воды о берег, тиканье часов в коридоре. Что-то внутри него отступало, уходило в ногу, в камень, в тишину. Он чувствовал не отвращение и не нежность; хуже — отсутствие того, что от него ждали.

Тень стоял у окна, смотря на озеро. Теперь он не был похож на Шелли. Его лицо утонуло в темноте, а за плечами колыхалась мокрая занавесь.

— Она любит тебя, — сказал он.

— Она любит миф.

— А ты?

Байрон посмотрел на спящую Клэр. Её рука лежала у него на груди, доверчиво и тяжело.

— Я люблю, что она любит миф. Это безопаснее.

— Безопаснее для кого?

Он не ответил. За окном на миг разгорелась молния, и озеро стало белым, как раскрытый глаз. Затем темнота вернулась.

Он так и не уснул. Под утро с коридора донёсся тихий голос Мэри. Она шла на кухню за водой, бледная, в сером домашнем платье, с зажжённой свечой. Увидев его в дверях, остановилась.

— Вы тоже не спали? — спросила она.

— Я должен был придумать привидение. Оно не явилось.

— Может быть, привидения не любят, когда их заставляют.

— Тогда у вас есть история?

Мэри опустила глаза на свечу.

— Не история. Только картинка. Человек лежит на столе. И вдруг... — Она подняла свободную руку, будто пыталась уловить невидимое движение. — Нет. Это глупо.

— Всё важное сначала кажется глупым, — сказал Байрон. — Особенно тому, кто его придумал.

Она посмотрела на него с благодарностью, такой простой, что он почти пожалел о собственных словах. Ему не хотелось быть причастным к её будущей книге. В этом было бы слишком много надежды на бессмертие.

— Я попробую написать, — сказала она.

— Попробуйте. Только не заставляйте вашего мертвеца говорить лучше живых.

Она улыбнулась — впервые за вечер — и пошла дальше. Байрон остался на лестнице, слушая, как её шаги растворяются в доме. Он не знал, что она напишет. Но уже чувствовал, что эта тонкая, молчаливая девушка способна вынести на бумагу то, от чего он предпочитал отпущиваться.

Внизу Полидори уже сидел за столом, мрачно размешивая сахар в чашке. Увидев Байрона, он спросил с преувеличенной небрежностью:

— Ну что, милорд, ваш мертвец воскрес?

— Нет. Он оказался разумнее автора и остался мёртв.

Полидори бросил на него взгляд, в котором было и облегчение, и досада. Мэри вошла следом, прижимая к груди лист бумаги. Она никому его не показала. Но Байрон заметил, как Шелли, увидев её, перестал говорить и улыбнулся. Эта улыбка была не для общества, не для будущей славы, не для игры. Байрон отвернулся к окну, где дождь снова начинал рисовать на стекле свои бесконечные, не нуждавшиеся в читателе строки.

Утром, когда Клэр ушла к себе и вилла наполнилась запахом кофе, мокрого дерева и остывших свечей, Байрон записал в тетрадь:

«Я создаю чудовищ не потому, что верю в их зло. Я создаю их, чтобы они стояли между мной и теми, кто просит войти.»

Интермедия I. Лондонский читатель

Лондон. Начало мая 1824 года.

Солнце наконец пробилось через лондонский смог — узкий, почти недоверчивый луч, который упал на раскрытую страницу, как прожектор. Томас Мур сидел в кресле у окна, не двигаясь, хотя нога давно затекла, а холодный чай на круглом столике приобрёл цвет старой бронзы. Перед ним лежали четыре тетради Байрона: чёрные, потёртые на углах, с переплётами, на которых дорожная пыль Миссолонги ещё держалась в складках кожи.

Они были у него чуть больше недели. На Болтон-стрит уже привыкли к их присутствию, как привыкают к тяжёлому предмету, внесённому в дом после похорон. Бесси не спрашивала, сколько он прочёл. Она только велела ставить свежий уголь в камин и однажды, проходя мимо кабинета, накрыла ему плечи пледом. Мур проснулся от этого прикосновения и почувствовал себя виноватым — перед нею, перед мёртвым другом, перед собственным любопытством.

Сегодня он читал о Вилле Диодати. О дожде, который бил в ставни. О Клэр, о Шелли, о Мэри. Байрон описывал их не так, как говорил о них в салонах: без блеска, который мгновенно делал чужую слабость анекдотом. Здесь Шелли был не воздушным святым и не смешным радикалом, а усталым молодым человеком, который боялся за жену. Клэр была не назойливой тенью знаменитого любовника, а женщиной, ждавшей у запертой двери. Даже Полидори, этот тщеславный, несчастный мальчишка, предстал не карикатурой, а болью, которой никто не хотел уступить место.

Мур закрыл глаза. Он помнил Байрона в лондонских комнатах — громкого, сияющего, бесконечно готового бросить фразу в лицо дружбе, любви, приличию. Помнил, как завидовал ему. Завидовал его славе, его красоте, даже его порокам: порок, если он совершён так открыто, легко принять за свободу. А теперь из тетради поднимался другой Байрон — тот, кто лежал ночью рядом с женщиной и чувствовал себя одиноким, как ребёнок в Абердине.

В дверь постучали. Не дожидаясь ответа, вошёл Мюррей. Он снял шляпу в передней, но плащ не расстегнул, словно намеревался уйти прежде, чем разговор станет неудобным. Его лицо было серо от дороги; на лацкане блестела дождевая капля.

— Вы читаете уже неделю, — сказал он. — Достаточно.

Мур медленно снял очки.

— Недостаточно.

— Неделя — это не чтение, мистер Мур. Это осада.

— Вы всегда считали книги укреплениями, которые следует брать расчётом.

— Я считаю их бумагой, которая может сжечь дом. Особенно когда у бумаги есть родственники, адвокаты и издатели.

Мюррей подошёл к столу. Он не сел — стоял, как прокурор у скамьи подсудимых. На его перчатках темнели пятна воды.

— Леди Байрон прислала второе письмо. Через молодого адвоката, мистера Уиггинса. Он вежлив, как все опасные молодые люди. Говорит о памяти милорда, о благополучии мисс Ады, о необходимости предотвратить «злоупотребление частными материалами».

— Они готовят иск о клевете, если хоть одна страница коснётся её семьи, — сказал Мур. Мюррей бросил на него быстрый взгляд.

— Именно. И прежде чем вы скажете, что это несправедливо: им не нужен сам иск. Им достаточно намёка на него. Ни один книготорговец не прикоснётся к рукописи, если решит, что за каждой страницей стоит судебный пристав.

— Её семьи? — Мур поднял глаза. — Она имеет в виду себя. Или Аду.

— Она имеет в виду, что репутация ребёнка стоит дороже посмертной правды отца.

В комнате тихо треснул уголёк. Мур посмотрел на камин. Огонь был низким, почти синим у основания. Вчерашний пепел всё ещё лежал серым кругом у решётки, и он вдруг подумал о другом камине, на другой улице, о котором пока не хотел думать.

— Вы читали о его матери? — спросил он.

Мюррей нахмурился.

— Я читал счета за её лечение. И несколько писем, где она требовала денег. Алкоголь — не лечение, мистер Мур, хотя ваш соотечественник О'Коннелл, должно быть, так считает.

Мур почти улыбнулся, но не смог.

— Она была сломана. И он пишет о ней так, словно... словно она была человеком. Не злодейкой. Человеком.

— Художественная снисходительность опасна, когда адресована мёртвым. Мёртвые не могут опровергнуть красивую версию.

— Это не красивая версия. В этом и дело. Он не оправдывает её. Он оставляет её виноватой и несчастной одновременно.

Мюррей помолчал. Когда он заговорил снова, его голос стал тише.

— Публика простит ему пороки. Она не простит ему человеческой слабости. Потому что слабость — это трещина в мраморе. А мрамор — это то, что мы продаём.

Мур поднялся. Его раздражала точность этой фразы. Ещё больше его раздражало, что Мюррей, вероятно, говорил её без злобы. Издатель не был чудовищем; он был человеком, который видел, как толпа сначала возводит статую, а затем требует молоток, чтобы проверить, что внутри.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.